

ЮРИЙ КАЗАКОВ

ДВОЕ В ДЕКАБРЕ



БИБЛИОТЕКА
СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

Юрий Павлович Казаков

Двое в декабре

Серия «Библиотека советской эпохи»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69180229

Двое в декабре:

ISBN 978-5-4484-8832-0

Аннотация

В предлагаемый сборник произведений классика отечественной литературы XX века Юрия Павловича Казакова (1927–1982) вошли его лучшие рассказы – умные, тонкие, лирические, философские. Знаменитый писатель Юрий Нагибин так вспоминал о нем: «Он не ведал периода ученичества, созревания, он пришел в литературу сложившимся писателем с прекрасным языком, отточенным стилем... Он никогда не приспособливался к “требованиям”, моде, господствующим вкусам и даже не знал, что это такое... Слово было дано ему от Бога. И я не встречал в литературе более чистого человека». Казакова всегда притягивала первооснова жизни, ее властная сила, проявляющаяся не в «сегодняшнем дне» с сиюминутными хлопотами, а в постижении человеческой природы, ярче всего заметной в труде, любви, обретении счастья, заботе о близких.

Содержание

Голубое и зеленое	8
1	8
2	13
3	18
4	23
5	34
6	41
7	47
На полустанке	49
Некрасивая	57
Странник	71
1	71
2	73
3	81
4	87
5	92
Дом под кручей	94
1	94
2	101
3	110
Поморка	114
1	114
2	117

3	122
Манька	126
1	127
2	130
3	133
4	143
Конец ознакомительного фрагмента.	146

Юрий Павлович Казаков

Двое в декабре



Юрий Казаков

(1927–1982)

© Казаков Ю.П., наследники, 2022

© ООО «Издательство «Вече», 2022

Голубое и зеленое

1

– Лиля, – говорит она глубоким грудным голосом и подает мне горячую маленькую руку.

Я осторожно беру ее руку, пожимаю и отпускаю. Я бормочу при этом свое имя. Кажется, я не сразу даже сообразил, что нужно назвать свое имя. Рука, которую я только что отпустил, нежно белеет в темноте. «Какая необыкновенная, нежная рука!» – с восторгом думаю я.

Мы стоим на дне глубокого двора. Как много окон в этом квадратном темном дворе: есть окна голубые и зеленые, и розовые, и просто белые. Из голубого окна на втором этаже слышна музыка. Там включили приемник, и я слышу джаз. Я очень люблю джаз, нет, не танцевать – танцевать я не умею, я люблю слушать хороший джаз. Некоторые не любят, но я люблю. Не знаю, может быть, это плохо. Я стою и слушаю джазовую музыку со второго этажа, из голубого окна. Видимо, там прекрасный приемник.

После того как она назвала свое имя, наступает долгое молчание. Я знаю, что она ждет от меня чего-то. Может быть, она думает, что я заговорю, скажу что-нибудь веселое, может, она ждет первого моего слова, вопроса какого-ни-

будь, чтобы заговорить самой. Но я молчу, я весь во власти необыкновенного ритма и серебряного звука трубы. Как хорошо, что играет музыка и я могу молчать!

Наконец мы трогаемся. Мы выходим на светлую улицу. Нас четверо: мой приятель с девушкой, Лиля и я. Мы идем в кино. В первый раз я иду в кино с девушкой, в первый раз меня познакомили с ней, и она подала мне руку и сказала свое имя. Чудесное имя, произнесенное грудным голосом! И вот мы идем рядом, совсем чужие друг другу и в то же время странно знакомые. Музыки больше нет, и мне не за что спрятаться. Мой приятель отстаёт со своей девушкой. В страхе я замедляю шаги, но те идут ещё медленней. Я знаю, он делает это нарочно. Это очень плохо с его стороны – оставить нас наедине. Никогда не ожидал от него такого предательства!

Что бы такое сказать ей? Что она любит? Осторожно, сбоку смотрю на нее: блестящие глаза, в которых отражаются огни, темные, наверное, очень жесткие волосы, сдвинутые густые брови, придающие ей самый решительный вид... Но щеки у нее почему-то напряжены, как будто она сдерживает смех. Что бы ей все-таки сказать?

– Вы любите Москву? – вдруг спрашивает она и смотрит на меня очень строго. Я вздрагиваю от ее глубокого голоса. Есть ли еще у кого-нибудь такой голос!

Некоторое время я молчу, переводя дух. Наконец собираюсь с силами. Да, конечно, я люблю Москву. Особенно я люблю арбатские переулки и бульвары. Но и другие улицы я

тоже люблю... Потом я снова умолкаю.

Мы выходим на Арбатскую площадь. Я принимаюсь насвистывать и сую руки в карманы. Пусть думает, что знакомство с ней мне не так уж интересно. Подумаешь! В конце концов, я могу уйти домой, я тут рядом живу, и вовсе необязательно мне идти в кино и мучиться, видя, как дрожат ее щеки.

Но мы все-таки приходим в кино. До начала сеанса еще минут пятнадцать. Мы стоим посреди фойе и слушаем певицу, но ее плохо слышно: возле нас много народу, и все потихоньку разговаривают. Я давно заметил, что те, кто стоит в фойе, плохо слушают оркестр. Слушают и аплодируют только передние, а сзади едят мороженое и конфеты и тихо переговариваются. Решив, что певицу все равно не услышишь как следует, я принимаюсь разглядывать картины. Я никогда раньше не обращал внимания на них, но теперь я очень заинтересован. Я думаю о художниках, которые их нарисовали. Видимо, не зря повесили эти картины в фойе.

Очень хорошо, что они висят тут.

Лиля смотрит на меня блестящими серыми глазами. Какая она красивая! Впрочем, она вовсе не красивая, просто у нее блестящие глаза и розовые крепкие щеки. Когда она улыбается, на щеках появляются ямочки, а брови расходятся и не кажутся уже такими строгими. У нее высокий чистый лоб. Только иногда на нем появляется морщинка. Наверное, она думает в это время.

Нет, я больше не могу стоять с ней! Почему она так меня рассматривает?

— Пойду покурю, — говорю я отрывисто и небрежно и ухожу в курительную. Там я сажусь и вздыхаю с облегчением. Странно, но когда в комнате много дыма, когда воздух совсем темный от дыма, почему-то не хочется курить. Я осматриваюсь: стоят и сидят много людей. Некоторые спокойно разговаривают, другие молча торопливо курят, жадно затягиваются, бросают недокуренные папиросы и быстро выходят. Куда они торопятся? Интересно, если жадно курить, папироса делается кислой и горькой. Лучше всего курить не спеша, понемножку. Я смотрю на часы: до сеанса еще пять минут. Нет, я, наверное, все-таки глуп. Другие так легко знакомятся, разговаривают, смеются. Другие ужасно остроумны, говорят о футболе и о чем угодно. Спорят о кибернетике. Я бы ни за что не заговорил с девушкой о кибернетике. А Лиля жестокая, решаю я, у нее жесткие волосы. У меня волосы мягкие. Наверное, поэтому я сижу и курю, хотя мне совсем не хочется курить. Но я все-таки посижу еще. Что мне делать в фойе? Опять смотреть на картины? Но ведь это плохие картины, и неизвестно, для чего их повесили. Очень хорошо, что я их раньше никогда не замечал.

Наконец звонок. Я очень медленно выхожу из курительной, разыскиваю в толпе Лилю. Не глядя друг на друга, мы идем в зрительный зал и садимся. Потом гаснет свет и начинается кинокартина.

Когда мы выходим из кино, приятель мой совсем исчезает. Это так действует на меня, что я перестаю вообще о чем-либо думать. Просто иду и молчу. На улицах нет почти никого. Быстро проносятся автомашины. Наши шаги гулко отдаются от стен и далеко слышны.

Так мы доходим до ее дома. Останавливаемся опять во дворе. Поздно, уже не все окна горят, и во дворе темнее, чем было два часа назад. Много белых и розовых окон погасло, но зеленые еще горят. Светится и голубое окно на втором этаже, только музыки больше не слышно оттуда. Некоторое время мы стоим совершенно молча. Лиля странно ведет себя: поднимает лицо, смотрит на окна, будто считает их; она почти отворачивается от меня, потом начинает поправлять волосы... Наконец я очень небрежно, как бы между прочим, говорю, что нам нужно еще встретиться завтра. Я очень рад, что во дворе темно и она не видит моих пылающих ушей.

Она согласна встретиться. Я могу прийти к ней, ее окна выходят на улицу. У нее каникулы, родные уехали на дачу, и ей немного скучно. Она с удовольствием погуляет.

Я размышляю, прилично ли будет пожать ей руку на прощанье. Она сама протягивает мне узкую руку, белеющую в темноте, и я снова чувствую ее теплоту и доверчивость.

На другой день я прихожу к ней засветло. Во дворе на этот раз много ребят. Двое из них с велосипедами: они собираются куда-то ехать; но, может быть, они уже приехали? Остальные стоят просто так. Мне кажется, все они смотрят на меня и отлично знают, зачем я пришел. И я никак не могу пройти двором, я подхожу к ее окнам на улицу. Я заглядываю в окно и откашливаюсь.

– Лиля, вы дома? – громко спрашиваю я. Я спрашиваю очень громко, и голос мой не дрожит. Это прямо замечательно, что у меня не прервался голос!

Да, она дома. У нее подруга. Они спорят о чем-то интересном, и я должен разрешить этот спор.

– Идите скорей! – зовет меня Лиля.

Но мне невыносимо идти двором, я никак не могу идти двором...

– Я к вам влезу через окно! – решительно говорю я и вспрыгиваю на окно. Я очень легко и красиво вспрыгиваю на окно, перебрасываю одну ногу через подоконник и тут только замечаю насмешливое удивление подруги и замешательство Лили. Я сразу догадываюсь, что сделал какую-то неловкость, и застываю на окне: одна нога на улице, другая в комнате. Я сижу и смотрю на Лилю.

– Ну, лезьте же! – нетерпеливо говорит Лиля. Брови ее

сходятся, и щеки все больше краснеют.

— Не люблю летом торчать в комнатах... — бормочу я, делая высокомерное лицо. — Лучше я подожду вас на улице.

Я спрыгиваю с окна и отхожу к воротам. Как они смеются теперь надо мной! Я знаю, девчонки все жестокие и никогда нас не понимают. Зачем я пришел сюда? Зачем мне служить посмешищем! Лучше всего мне уйти. Если побежать сейчас, то можно добежать до конца улицы и свернуть за угол, прежде чем она выйдет. Убежать или нет? Секунду я раздумываю: будет ли это удобно? Потом я поворачиваюсь и вдруг вижу Лилю. Она с подругой выходит из ворот, смотрит на меня, в глазах ее еще не погас смех, а на щеках играют ямочки.

На подругу я не смотрю. Зачем она идет с нами? Что я буду с ними обеими делать? Я молчу, и Лиля начинает говорить с подругой. Они разговаривают, а я молчу. Когда мы проходим мимо афиш, я внимательно читаю их. Афиши можно иногда читать с конца, тогда выходят смешные горланье слова. Доходим до угла, и тут подруга начинает прощаться. С признательностью я смотрю на нее. Она очень красивая и умная.

Подруга уходит, а мы идем на Тверской бульвар. Сколько влюбленных ходило по Тверскому бульвару! Теперь по нему идем мы. Правда, мы еще не влюбленные. Впрочем, может быть, мы тоже влюбленные, я не знаю. Мы идем довольно далеко друг от друга. Примерно в метре друг от друга. Липы

уже отцвели. Зато очень много цветов на клумбах. Они совсем не пахнут, и названий их никто, наверное, не знает.

Мы очень много говорим. Никак нельзя установить последовательности в нашем разговоре и в наших мыслях. Мы говорим о себе и о наших знакомых, мы перескакиваем с предмета на предмет и забываем то, о чем говорили минуту назад. Но нас это не смущает, у нас еще много времени, впереди длинный-длинный вечер, и можно еще вспомнить забытое. А еще лучше вспоминать все потом, ночью.

Вдруг я замечаю, что у нее расстегнулось платье. У нее чудное платье, я таких ни у кого не видел – от ворота до пояса мелкие кнопочки. И вот несколько кнопок теперь расстегнулись, а она этого не замечает. Но не может же она ходить по улицам в расстегнутом платье! Как бы мне сказать ей об этом? Может быть, взять и застегнуть самому? Сказать что-нибудь смешное и застегнуть, как будто это самое обыкновенное дело. Как было бы хорошо! Но нет, этого никак нельзя сделать, это просто невозможно. Тогда я отворачиваюсь, выжидаю паузу в ее разговоре и говорю, чтобы она застегнулась. Она сразу замолкает. А я смотрю на большую надпись, торчащую на крыше. Написано, что каждый может выиграть сто тысяч. Очень оптимистическая надпись. Вот бы нам выиграть когда-нибудь!

Потом я закуриваю. Я очень долго закуриваю. Вообще во всех трудных минутах лучше всего закурить. Это очень помогает. Потом я несмело взглядываю на нее. Платье застег-

нуто, щеки у нее пламенеют, глаза делаются темными и строгими. Она тоже смотрит на меня, смотрит так, будто я очень изменился или узнал про нее что-то важное. Теперь мы идем уже немного ближе друг к другу.

Час проходит за часом, а мы все ходим, говорим и ходим. По Москве можно ходить без конца. Мы выходим к Пушкинской площади, от Пушкинской спускаемся к Трубной, откуда по Неглинке идем к Большому театру, потом к Каменному мосту... Я готов ходить бесконечно. Я только спрашиваю у нее, не устала ли она. Нет, она не устала, ей очень интересно. Гаснут фонари на улицах. Небо, дождавшись темноты, опускается ниже, звезд становится больше. Потом начинается тихий рассвет. На бульварах, тесно прижавшись, сидят влюбленные. На каждой скамейке по одной паре. Я смотрю на них с завистью и думаю, будем ли и мы с Лилей сидеть когда-нибудь так.

На улицах совсем нет людей, только милиционеры. Они все смотрят на нас. Некоторые выразительно покашливают, когда мы проходим. Наверное, им хочется что-нибудь сказать нам, но они не говорят. Лиля наклоняет голову и ускоряет шаг. А мне почему-то смешно. Теперь мы с ней идем почти рядом. Ее рука иногда касается моей. Это совсем незаметные прикосновения, но я их чувствую.

Наконец мы расстаемся в ее тихом гулком дворе. Все спят, не горит ни одно окно. Мы понижаем наши голоса почти до шепота, но слова все равно звучат громко, и мне кажется,

нас кто-то подслушивает.

Домой я прихожу в три часа. Только сейчас я чувствую, как гудят ноги. Как же тогда устала она! Я зажигаю настольную лампу и начинаю читать. Я читаю «Замок Броуди», который дала мне Лилия. Это замечательная книга, я читаю ее и все время вижу почему-то лицо Лили. Иногда я закрываю глаза и слышу ее нежный грудной голос. Между страниц мне попадает длинный темный волос. Это ее волос – ведь она читала «Замок Броуди». Почему я решил, что у нее жесткие волосы? Это очень мягкий, шелковистый волос. Я осторожно сворачиваю его и кладу в том энциклопедии. Потом я спрячу его получше.

Совсем рассвело, и я не могу больше читать. Я ложусь и смотрю в окно. Мы живем очень высоко, на седьмом этаже. Из наших окон видны крыши многих домов. А вдали, там, откуда летом встает солнце, видна звезда Кремлевской башни. Одна только звезда видна. Я люблю подолгу смотреть на эту звезду. Ночью, когда в Москве тихо, я слышу бой курантов. Ночью все очень хорошо слышно. Я лежу, смотрю на звезду и думаю о Лилие.

А через неделю мы с матерью уезжаем на Север. Я давно мечтал об этой поездке – с самой весны. Но теперь жизнь в деревне для меня полна особенного значения и смысла.

Я впервые попадаю в леса, в настоящие дикие леса, и весь переполнен радостью первооткрывателя. У меня есть ружье, – мне купили его, когда я окончил девять классов, – и я охочусь. Я брожу совсем один и не скучаю. Иногда я устаю. Тогда я сажусь и смотрю на широкую реку, на низкое осеннее небо. Август. И на Севере очень часто стоит плохая погода. Но и в плохую погоду, и в солнце я выхожу рано утром из дому и иду в лес. Там я охочусь и собираю грибы или просто перехожу с поляны на поляну и смотрю на белые ромашки, которых здесь множество. Мало ли что можно делать в лесу! Можно сесть на берегу озера и сидеть неподвижно. Прилетят утки, с шипением опустятся совсем рядом. Сначала они будут сидеть, прямо вытянув шеи, потом начнут нырять, плескаться, сплываться и расплываться. Я слежу за ними одними глазами, не поворачивая головы.

Потом выйдет солнце из-за туч, прорвется через листья над моей головой и запустит золотые дрожащие пальцы глубоко в воду. Тогда становятся видными длинные ржавые стебли кувшинок. Возле стеблей показываются большие рыбы. Они застывают в солнечном луче, не шевеля ни одним

плавником, будто греются или спят. И мне очень странно следить за ними. Глядя на них, сам цепенеешь и воспринимаешь все, как сквозь сон.

Мало ли что можно делать в лесу. Можно просто лежать, слушать гул сосен и думать о Лиле. Можно даже говорить о ней. Я рассказываю ей об охоте, об озерах и лесах, о прекрасном запахе ружейного дыма, и она понимает меня, хотя женщины вообще не любят и не понимают охоты.

Иногда я возвращаюсь домой ночью. Я иду полем, и мне немного страшно. Со мной заряженное ружье, но все-таки я часто оглядываюсь. Очень темно. Только в небе, если долго смотреть, можно заметить слабый свет. Но на земле очень темно. Надо мной кругами беззвучно летают совы. Я вижу их, но, сколько бы я ни прислушивался, мне не удастся услышать взмахов их крыльев. Однажды я выстрелил. Сова глухо ударилась о межу и долго потом щелкала во тьме клювом...

Через месяц я возвращаюсь в Москву. Прямо с вокзала, едва поставив дома чемоданы, я иду к Лиле. Вечер, ее окна светятся – значит, она дома. Я подхожу к окну, пробираясь через леса – ее дом ремонтируют, – и смотрю сквозь занавеску.

Она сидит за столом одна у настольной лампы и читает. Лицо ее задумчиво. Она переворачивает страницу, облокачивается, поднимает глаза и смотрит на лампу, наматывая на палец прядь волос. Какие у нее темные глаза. Почему я раньше думал, что они серые? Они совсем темные, почти чер-

ные. Я стою под лесами, пахнет штукатуркой и сосной. Этот сосновый запах доносится ко мне, как далекий отзвук моих охот, как воспоминание обо всем, что я оставил на Севере. За моей спиной слышны шаги прохожих. Люди идут куда-то, спешат, четко шагая по асфальту, у них свои мысли и свои любви, они живут каждый своей жизнью. Москва оглушила меня своим шумом, огнями, запахом, многолюдством, от которых я отвык за месяц. И я с робкой радостью думаю, как хорошо, что в этом огромном городе у меня есть любимая.

– Лиля! – зову я негромко.

Она вздрагивает, брови ее поднимаются. Потом она встанет, подходит к окну, отодвигает занавеску, наклоняется ко мне, и я близко вижу ее темные радостные глаза.

– Алеша! – говорит она медленно. На щеках ее появляются едва заметные ямочки. – Алеша! Это ты? Это правда ты? Я сейчас выйду. Ты хочешь гулять? Я очень хочу гулять с тобой. Я сейчас выйду.

Я выбираюсь из лесов, перехожу на другую сторону и смотрю на ее окна. Вот гаснет свет, проходит короткая минута, и в черной дыре ворот показывается фигура Лили. Она сразу замечает меня и бежит ко мне через улицу. Она хватается мои руки и долго держит их в своих руках. Мне кажется, она загорела и немного похудела. Глаза ее стали еще больше. Я слышу, как колотится ее сердце и прерывается дыхание.

– Пойдем гулять! – говорит наконец она. И тут я обращаю внимание, что она говорит мне «ты». Мне очень хочет-

ся сесть или прислониться к чему-нибудь – так вдруг ослабли мои ноги. Даже после самых утомительных охот они так не дрожали.

Но мне неудобно идти с ней. Я только на минутку зашел повидать ее. Я так плохо одет. Я прямо с дороги, на мне лыжный костюм, сбитые ботинки. Костюм прожжен в нескольких местах. Это я ночевал на охоте. Когда спишь у костра, очень часто прожигает куртку и брюки. Нет, я никак не могу идти с ней.

– Какая чепуха! – беспечно говорит она и тянет меня за руку. Ей нужно со мной поговорить. Она совсем одна, подруги еще не приехали, родители на даче, она страшно скучает и все время ждала меня. При чем здесь костюм? И потом, почему я не писал? Мне, наверное, было приятно, что другие мучаются?

И вот мы опять идем по Москве. Очень странный, сумасшедший какой-то вечер. Начинается дождь, мы прячемся в гулкий подъезд и, задыхаясь от быстрого бега, смотрим на улицу. С шумом падает вода по водосточной трубе, тротуары блестят, автомашины проезжают совсем мокрые, и от них к нам ползут красные и белые змейки света, отражающегося на мокром асфальте. Потом дождь перестает, мы выходим, смеемся, перепрыгиваем через лужи. Но дождь начинается с новой силой, и мы снова прячемся. На ее волосах блестят капли дождя. Но еще сильнее блестят ее глаза, когда она смотрит на меня.

– Ты вспоминал обо мне? – спрашивает она. – Я почти все время о тебе думала, хоть и не хотела. Сама не знаю почему. Ведь мы знакомы так мало. Правда? Я читала книгу и вдруг думала, понравилась бы она тебе. У тебя уши не краснели? Говорят, если думаешь долго о ком-нибудь, у него начинают уши краснеть. Я даже в Большой не пошла. Мне мама дала один билет, а я не пошла. Ты любишь оперу?

– Еще бы! Я, может, скоро стану певцом. Мне сказали, что у меня хороший бас.

– Алеша! У тебя бас? Спой, пожалуйста! Ты потихоньку спой, и никто не услышит, одна я.

Сначала я отказываюсь. Потом я все-таки пою. Я пою романсы и арии и не замечаю, что дождь уже кончился, но тротуару идут прохожие и оглядываются на нас. Лиля тоже не замечает ничего. Она смотрит мне в лицо, и глаза ее блестят.

Молодым быть очень плохо. Жизнь проходит быстро, тебе уж семнадцать или восемнадцать лет, а ты еще ничего не сделал. Незвестно даже, есть ли у тебя какие-нибудь таланты. А хочется большой, бурной жизни! Хочется писать стихи, чтобы вся страна знала их наизусть. Или сочинить героическую симфонию и выйти потом к оркестру – бледному, во фраке, с волосами, падающими на лоб... И чтобы в ложе непременно сидела Лиля! Что же мне делать? Что сделать, чтобы жизнь не прошла даром, чтобы каждый день был днем борьбы и побед! Я живу в тоске, меня мучит мысль, что я не герой, не открыватель. Способен ли я на подвиг? Не знаю. Способен ли я на тяжелый труд, хватит ли у меня сил на свершение великих дел? Хуже всего то, что никто не понимает моей муки. Все смотрят на меня, как на мальчишку, даже иной раз ерошат мне волосы, будто мне еще десять лет! И только Лилия, одна Лилия понимает меня, только с ней я могу быть до конца откровенным.

Мы давно уже занимаемся в школе: она в девятом, я – в десятом. Я решил заняться плаванием и стать чемпионом СССР, а потом и мира. Уже три месяца хожу в бассейн. Кроль – самый лучший стиль. Это самый стремительный стиль. Он мне очень нравится. Но по вечерам я люблю мечтать.

Есть зимой короткая минута, когда снег на крышах и небо делаются темно-голубыми в сумерках, даже лиловыми. Я стою у окна, смотрю в открытую форточку на лиловый снег, дышу нежным морозным воздухом, и мне почему-то грезятся далекие путешествия, неизвестные страны, горы... Я голодаю, обрастаю рыжей бородой, меня печет солнце или до костей прохватывает мороз, я даже гибну, но открываю еще одну тайну природы. Вот жизнь! Если бы мне попасть в экспедицию!

Я начинаю ходить по трестам и главкам. Их много в Москве, и все они со звучными загадочными названиями. Да, экспедиции отправляются. В Среднюю Азию и на Урал, и на Север. Да, работники нужны. Какая у меня специальность? Ах, у меня нет специальности... Очень жаль, но мне ничем не могут помочь. Мне необходимо учиться. Рабочим? Рабочих они нанимают на месте. Всего доброго!

И я снова хожу в школу, готовлю уроки... Что ж, придется покориться обстоятельствам. Хорошо, я окончу десять классов и даже поступлю в институт. Мне теперь все безразлично. Я поступлю в институт и стану потом инженером или учителем. Но в моем лице люди потеряют великого путешественника.

Наступил декабрь. Все свободное время я провожу с Лилей. Я люблю ее еще больше. Я не знал, что любовь может быть бесконечной. Но это так. С каждым месяцем Лиля делается мне все дороже, и уже нет жертвы, на которую я бы не

пошел ради нее. Она часто звонит мне по телефону. Мы долго разговариваем, а после разговора я никак не могу взяться за учебники. Начались сильные морозы с метелями. Мать собирается ехать в деревню, но у нее нет теплого платка. Старинная теплая шаль есть у тети, которая живет за городом. Мне нужно поехать и привезти эту шаль.

В воскресенье утром я выхожу из дому. Но вместо того, чтобы ехать на вокзал, я захожу к Лиле. Мы идем с ней на каток, потом – греться в Третьяковку. В Третьяковке зимой очень тепло, там есть стулья, и на стульях можно посидеть и потихоньку поговорить. Мы бродим по залам, смотрим картины. Особенно я люблю «Девочку с персиками» Серова. Эта девочка очень похожа на Лилю. Лилия краснеет и смеется, когда я говорю ей об этом. Иногда мы совсем забываем о картинах, разговариваем шепотом и смотрим друг на друга. Между тем быстро темнеет. Третьяковка скоро закрывается, мы выходим на мороз, и тут я вспоминаю, что мне нужно было съездить за шалью. Я с испугом говорю об этом Лиле. Ну что ж, очень хорошо, мы сейчас же поедем за город.

И мы едем, радостные оттого, что нам не нужно расставаться. Мы сходим на платформе, засыпанной снегом, и идем дорогой через поле. Впереди и сзади темнеют фигуры людей, идущих вместе с нами с электрички. Слышны разговоры и смех, вспыхивают огоньки папирос. Иногда кто-нибудь впереди бросает окурочку на дорогу. Мы подходим, он все еще светится. Вокруг огонька – маленькое розовое пятнышко.

ко на снегу. Мы не наступаем на него. Пусть еще посветится во тьме. Потом мы переходим через замерзшую реку, и под нами гулко скрипит деревянный мост. Очень сильный мороз. Мы идем темной просекой. По сторонам совсем черные ели и сосны. Тут гораздо темнее, чем в поле. Только из окон некоторых дач падают на снег желтые полосы света. Многие дачи стоят совсем глухие, темные: в них, наверное, зимой не живут. Сильно пахнет березовыми почками и чистым снегом, в Москве так никогда не пахнет.

Наконец мы подходим к дому моей тетки. Почему-то мне представляется невозможным заходить к ней вместе с Лилей.

– Лиля, ты подождешь меня немного? – нерешительно прошу я. – Я очень скоро.

– Хорошо, – соглашается она. – Только недолго. Я совсем замерзла. У меня замерзли ноги. И лицо. Нет, ты не думай, я рада, что поехала с тобой! Только ты недолго, правда?

Я ухожу, оставляя ее на темной просеке совсем одну. У меня очень нехорошо на сердце.

Тетя и двоюродная сестра удивлены и обрадованы. Почему я так поздно? Как я вырос! Совсем мужчина. Наверное, я останусь ночевать?

– Как здоровье мамы?

– Спасибо, очень хорошо.

– Папа работает?

– Да, папа работает.

– Все там же? А как здоровье дяди?

Господи, тысячи вопросов! Сестра смотрит расписание поездов. Ближайший обратный поезд идет в одиннадцать часов. Я должен раздеться и напиться чаю. И потом я должен дать им посмотреть на себя и рассказать обо всем. Ведь я не был у них целый год. Год – это очень много.

Меня насильно раздевают. Топится печка, ярко горит лампа в розовом абажуре, стучат старинные часы. Очень тепло, и очень хочется чаю. Но на темной просеке меня ждет Лиля!

Наконец я говорю:

– Простите, но я очень спешу... Дело в том, что я не один. Меня на улице ждет... один приятель.

Как меня ругают! Я совсем невоспитанный человек. Разве можно оставлять человека на улице в такой холод! Сестра выбегает в сад, я слышу под окном хруст ее шагов. Немного погодя опять хрустит снег, и сестра вводит в комнату Лилю. Она совсем белая. Ее раздевают и сажают к печке. На ноги ей надевают теплые валенки.

Понемногу мы отогреваемся. Потом садимся пить чай. Лиля стала пунцовой от тепла и смущения. Она почти не поднимает глаз от чашки, только изредка страшно серьезно взглядывает на меня. Но щеки ее напряжены, и на них дрожат ямочки. Я уже знаю, что это значит, и очень счастлив! Я выпил уже пять стаканов чаю.

Потом мы встаем из-за стола. Пора ехать. Мы одеваем-

ся, мне дают шаль. Но вдруг раздумывают, велят Лиле раздеться, укутывают ее шалью и сверху натягивают пальто. Она очень толстая теперь, лицо ее почти все закрыто шалью, только блестят глаза.

Мы выходим на улицу и первое время ничего не видим. Лиля крепко держится за меня. Отойдя от дома, мы начинаем немного различать тропинку. Лилия вдруг начинает хохотать. Она даже падает два раза, и мне приходится поднимать ее и вытряхивать снег из рукавов.

– Какой у тебя был вид! – еле выговаривает она. – Ты смотрел на меня, как страус, когда меня привели!

Я тоже хохочу во все горло.

– Алеша! – вдруг со сладким ужасом говорит она. – А ведь нас могут остановить!

– Кто?

– Ну, мало ли кто! Бандиты... Они могут нас убить.

– Ерунда! – говорю я громко.

Кажется, я говорю это слишком громко. И почему-то вдруг начинаю чувствовать, что на улице мороз. Он даже как будто покрепчал, пока мы пили чай и разговаривали.

– Ерунда! – опять повторяю я. – Никого здесь нет!

– А вдруг есть? – быстро спрашивает Лилия и оглядывается. Я тоже оглядываюсь.

– Ты боишься? – звонко спрашивает она.

– Нет! Хотя... А ты боишься?

– Ах, я страшно боюсь! Нас определенно разденут. У меня

предчувствие.

– Ты веришь предчувствиям?

– Верю. Зачем я поехала? Впрочем, я рада все равно, что поехала.

– Да?

– Да! Если даже нас разденут и убьют, я все равно не пожалею. А ты? Ты согласился бы умереть ради меня?

Я молчу и только крепче сжимаю ее руку. Если бы мне только представился случай, чтобы доказать ей свою любовь!

– Алеша...

– Да?

– Я у тебя хочу спросить... Только ты не смотри на меня. Не смей заглядывать мне в лицо! Да... о чем я хотела? Отвернись!

– Ну вот, я отвернулся. Только ты смотри на дорогу. А то мы споткнемся.

– Это ничего, я в платке, мне не больно падать.

– Да?

– Алеша... Ты целовался когда-нибудь?

– Нет. Никогда не целовался. А что?

– Совсем никогда?

– Я целовался один раз... Но это было в первом классе. Я поцеловал одну девочку. Я даже не помню, как ее звать.

– Правда? Ты не помнишь ее имени?

– Нет, не помню.

– Тогда это не считается. Ты был еще мальчик.

– Да, я был мальчик.

– Алеша... Ты хочешь меня поцеловать?

Я все-таки спотыкаюсь. Теперь я не отворачиваюсь больше, я внимательно смотрю на дорогу.

– Когда? Сейчас? – спрашиваю я.

– Нет, нет... Если мы дойдем до станции и нас не убьют, тогда на станции я тебя поцелую.

Я молчу. Мороз, кажется, послабел. Я совсем его не чувствую. Очень горят щеки. И жарко. Или мы так быстро идем?

– Алеша...

– Да?

– Я совсем ни с кем не целовалась.

Я молча взглядываю на звезды. Потом я смотрю вперед, на желтоватое зарево огней над Москвой. До Москвы тридцать километров, но зарево ее огней видно. Как все-таки чудесна жизнь!

– Это, наверное, стыдно – целоваться? Тебе было стыдно?

– Я не помню, это было так давно... По-моему, это не особенно стыдно.

– Да, это было давно. Но все-таки это, наверное, стыдно.

Мы идем уже полем. На этот раз мы совсем одни в пустом поле. Ни души не видно ни впереди, ни сзади. Никто не бросает на дорогу горящих окурков. Только звонко скрипят наши шаги. Вдруг впереди вспыхивает светлячок, бледный светлячок, похожий на далекую свечку. Он вспыхивает, качается некоторое время и гаснет. Потом опять зажигается,

но уже ближе. Мы смотрим на этот огонек и наконец догадываемся: это электрический фонарик. Потом мы замечаем маленькие черные фигуры. Они идут нам навстречу от станции. Может быть, это приехавшие на электричке? Нет, электричка не проходила, мы не слышали никакого шума.

– Ну вот... – говорит Лиля и крепче прижимается ко мне. – Я так и знала. Сейчас нас убьют. Это бандиты.

Что я могу ей сказать? Я ничего не говорю. Мы идем навстречу черным фигурам, мы очень медленно идем. Я вглядываюсь, считаю: шесть человек. Нашупываю в кармане ключ и вдруг испытываю прилив горячего восторга и отваги. Как я буду драться с ними! Я задыхаюсь от волнения, сердце мое бурно колотится. Они громко говорят о чем-то, но шагах в двадцати от нас замолкают.

– Лучше бы я тебя поцеловала, – печально говорит Лиля. – Я очень жалею...

И вот мы встречаемся на дороге среди пустынного поля. Шестеро останавливаются, зажигают фонарик, его слабый красноватый луч, скользнув по снегу, падает на нас. Мы шуримся. Нас оглядывают и молчат. У двоих распахнуты пальто. Один торопливо докуривает папиросу, сплевывает в снег. Я жду оклика или удара. Но нас не окликают. Мы проходим.

– А девочка ничего, – сожалеюще замечает кто-то сзади. – Эй, малый, не робей! А то отобьем!

– Ты испугался, да? – спрашивает Лиля немного погодя.

– Нет! Я только за тебя боялся...

– За меня? – Она сбоку странно смотрит на меня и замедляет шаги. – А я ни капельки не боялась! Мне только платка жалко было.

Больше до самой станции мы не говорим. У станции Лиля, становясь на цыпочки и обсыпаясь снегом, срывает веточку сосны и сует в карман. Потом мы поднимаемся на платформу. Никого нет. У кассы горит одна лампочка, и снег на платформе блестит, как соль. Мы начинаем топать: очень холодно. Лиля вдруг отходит от меня и прислоняется к перилам. Я стою на краю платформы, над рельсами, и вытягиваю шею, стараюсь увидеть огонек электрички.

– Алеша... – зовет меня Лиля. У нее странный голос.

Я подхожу. Ноги мои дрожат, мне делается вдруг чего-то страшно.

– Прижмись ко мне, Алеша, – просит Лиля. – Я совсем замерзла.

Я обнимаю ее и прижимаюсь к ней, и мое лицо почти касается ее лица. Я близко вижу ее глаза. Я впервые так близко вижу ее глаза. На ресницах у нее густой иней, волосы выбились из-под шали, и на них тоже иней. Какие у нее большие глаза и какой испуганный взгляд! Снег скрипит у нас под ногами. Мы стоим неподвижно, но он скрипит. Сзади раздается вдруг звонкий щелчок. Он сухо катится по доскам, как по льду на реке, и затихает где-то на краю платформы. Почему мы молчим? Впрочем, совсем не хочется говорить.

Лиля шевелит губами. Глаза ее становятся совсем черными.

– Что же ты не целуешь меня? – слабо шепчет она. Пар от нашего дыхания смешивается. Я смотрю на ее губы. Они опять шевелятся и приоткрываются. Я нагибаюсь и долго целую их, и весь мир начинает бесшумно кружиться. Они теплые. Во время поцелуя Лиля смотрит на меня, прикрыв пушистые ресницы. Она целуется и смотрит на меня, и теперь я вижу, как она меня любит.

Так мы целуемся в первый раз. Потом она прижимается холодной щекой к моему лицу, и мы стоим не шевелясь. Я смотрю поверх ее плеча, в темный зимний лес за платформой. Я чувствую на лице ее теплое детское дыхание и слышу торопливый стук ее сердца, а она, наверное, слышит стук моего сердца. Потом она шевелится и затаивает дыхание. Я отклоняюсь, нахожу ее губы и опять целую. На этот раз она закрывает глаза.

Вдали слышен низкий гудок, сверкает ослепительная звездочка. Подходит электричка. Через минуту мы входим в светлый и теплый вагон, со стуком захлопываем за собой дверь и садимся на теплую лавочку. Людей в вагоне мало. Одни читают, шуршат газетами, другие дремлют, покачиваясь вместе с вагоном. Лиля молчит и всю дорогу смотрит в окно, хоть стекла замерзли, на дворе ночь и решительно ничего нельзя увидеть.

Наверное, никогда невозможно с точностью указать минуту, когда пришла к тебе любовь. И я никак не могу решить, когда я полюбил Лилу. Может быть, тогда, когда я, одинокий, бродил по Северу? А может, во время поцелуя на платформе? Или тогда, когда она впервые подала мне руку и нежно сказала свое имя: Лилия? Я не знаю. Я только одно знаю, что теперь уж я не могу без нее. Вся моя жизнь теперь делится на две части: до нее и при ней. Как бы я жил и что значил без нее? Я даже думать об этом не хочу, как не хочу думать о возможной смерти моих близких.

Зима наша прошла чудесно. Все было наше, все было общее: прошлое и будущее, радость и вся жизнь до последнего дыхания. Какое счастливое время, какие дни, какое головокружение!

Но весной я начинаю кое-что замечать. Нет, я ничего не замечаю, я только чувствую с болью, что наступает что-то новое. Это даже трудно выразить. Просто у нас обнаруживается разница в характерах. Ей не нравятся мои взгляды, она смеется над моими мечтами, смеется жестоко, и мы несколько раз ссоримся. Потом... Потом все катится под гору, все быстрее, все ужаснее. Все чаще ее не оказывается дома, все чаще разговоры наши делаются неестественно веселыми и пустыми. Я чувствую, как уходит она от меня с каждым ра-

зом все дальше, все дальше...

Сколько в мире девушек, которым по семнадцать лет! Но ты знаешь одну, только одной ты смотришь в глаза, видишь их блеск и глубину, и влажность, только ее голос трогает тебя до слез, только ее руки ты боишься даже поцеловать. Она говорит с тобой, слушает себя, смеется, молчит, и ты видишь, что ты единственный ей нужен, что только тобой она живет и для тебя, что тебя одного она любит, так же как и ты ее.

Но вот ты с ужасом замечаешь, что глаза ее, прежде отдававшие тебе свою теплоту, свой блеск, свою жизнь, глаза ее теперь равнодушны, ушли в себя и что вся она ушла от тебя в такую дальнюю даль, где тебе ее уже не достать, откуда не вернуть ее. Самые священные твои порывы, затаенные и гордые мысли – не для нее, и сам ты со всей сложностью и красотой своей души – не для нее. Ты гонишься за нею, ты напрягаешься, усиливаешься, но все мимо, мимо, все не то и не так. Она ускользнула, ушла, она где-то у себя, в своем чудесном неповторимом мире, а тебе нет туда доступа, ты грешник – и рай не для тебя. Какое же отчаяние, злоба, сожаление и горе охватывают тебя! Ты опустошен, обманут, уничтожен и несчастен! Все ушло, и ты стоишь с пустыми руками, и впору тебе упасть и кричать, взывая к неведомому богу о своей боли и бессилии. И когда ты упадешь и закричишь, она взглянет на тебя, в глазах ее появится испуг, удивление, жалость – все, но того, что тебе надо, не появится, и единственного взгляда ты не получишь, ее любовь, ее жизнь не

для тебя. Ты даже можешь стать героем, гением, человеком, которым будет гордиться страна, но единственного взгляда ты никогда не получишь. Как больно! Как тяжело жить!

И вот уже весна... Много солнца и света, голубое небо, липы на бульварах начинают тонко пахнуть. Все бодро оживлены, все собираются встречать Май. И я, как и все, тоже собираюсь. Мне подарили к Маю сто рублей – теперь я самый богатый человек! И у меня впереди целых три свободных дня. Три дня, которые я проведу с Лилей, – не станет же она и в эти дни готовиться к экзаменам! Нет, я не пойду никуда, никакие компании мне не нужны, я буду эти дни вместе с ней. Мы так давно не были вместе...

Но она не может быть со мной. Ей нужно ехать на дачу к больному дяде. Ее дядя болен, и ему скучно, он хочет встретить Май в кругу родных, и вот они едут – ее родители и она. Прекрасно! Очень хорошо встретить Май на даче. Но мне так хочется побыть с ней... Может быть, второго мая?

Второго? Она раздумывает, наморщив лоб, и слегка краснеет. Да, может быть, она вырвется... Конечно, она очень хочет! Мы ведь так давно не были вместе. Итак, второго вечером, у Телеграфа на улице Горького.

В назначенный час я стою у Телеграфа. Как много здесь народу! Над моей головой глобус. Еще сумерки, но он уже светится – голубой, с желтыми материками – и тихонько крутится. Полыхает иллюминация: золотые колосья, голубые и зеленые искры. От света иллюминации лица у всех очень

красивые. У меня в кармане сто рублей. Я их не истратил вчера, и они со мной – мало ли куда мы можем пойти сегодня. В парк или в кино... Я терпеливо жду. Кругом все нервничают, но я удивительно спокоен.

По улице, прямо по середине, идут толпы людей. Как много девушек и ребят, и все поют, кричат что-то, играют на аккордеонах. На всех домах флаги, лозунги, много огней. Поют песни, и мне тоже хочется запеть, ведь у меня хороший голос. У меня бас. Я когда-то мечтал стать певцом. О многом я мечтал...

Вдруг я вижу Лилю. Она пробирается ко мне, поднимается по ступенькам, и на нее все оглядываются – так она красива. Я никогда не видел ее такой красивой. Сердце мое начинает колотиться. Она быстро оглядывает всех, глаза ее перебегают по лицам, ищут кого-то. Они ищут меня. Я делаю шаг ей навстречу, один только шаг, и вдруг острая боль ударяет меня в сердце, и во рту становится сухо. Она не одна! Рядом с ней стоит парень в шляпе и смотрит на меня. Он красивый, этот парень, и он держит ее под руку. Да, он держит ее под руку, тогда как я только на второй месяц осмелился взять ее под руку.

– Здравствуй, Алеша, – говорит Лиля. Голос у нее немного дрожит, а в глазах смущение. Только небольшое смущение, совсем маленькое. – Ты давно ждешь? Мы, кажется, опоздали...

Она смотрит на большие часы под глобусом и чуть хму-

рится. Потом она поворачивает голову и смотрит на парня. У нее очень нежная шея, когда она смотрит на него. Смотрела ли она так на меня?

– Познакомьтесь, пожалуйста!

Мы знакомимся. Он крепко жмет мне руку. В его познании уверенность.

– Ты знаешь, Алеша, сегодня у нас с тобой ничего не выйдет. Мы идем сейчас в Большой театр... Ты не обижаешься?

– Нет, я не обижаюсь.

– Ты проводишь нас немножко? Тебе ведь все равно сейчас нечего делать.

– Провожу. Мне действительно нечего делать.

Мы вливаемся в поток и вместе с потоком движемся вниз, к Охотному Ряду. Зачем я иду? Что со мной делается? Кругом поют. Играют аккордеоны. На крышах домов гремят репродукторы. В кармане у меня сто рублей! Совсем новая хрустящая бумажка в сто рублей. Но зачем я иду, куда я иду!

– Ну, как дядя? – спрашиваю я.

– Дядя? Какой дядя?.. Ах, ты про вчерашнее? – Она закусывает губу и быстро взглядывает на парня. – Дядя поправляется... Мы очень здорово встретили Май, так весело было! Танцевали... А ты? Ты хорошо встретил?

– Я? Очень хорошо.

– Ну, я рада!

Мы заворачиваем к Большому театру. Мы идем все рядом, втроем. Теперь не я держу ее под руку. Ее руку держит

этот красивый парень. И она уже не со мной, она с ним. Она сейчас за тысячу верст от меня. Почему у меня першит в горле? И щиплет глаза? Заболел я, что ли? Доходим до Большого театра, останавливаемся. Молчим. Совершенно не о чем говорить. Я вижу, как парень легонько сжимает ее локоть.

– Ну мы пойдем. До свидания! – говорит Лиля и улыбается мне. Какая у нее виноватая и в то же время отсутствующая улыбка!

Яжимаю ее руку. Все-таки у нее прекрасная рука. Они поворачиваются и неторопливо идут под колонны. А я стою и смотрю ей вслед. Она очень выросла за этот год. Ей уже семнадцать лет. У нее легкая фигура. Где я впервые увидел ее фигуру? Ах да, в черной дыре ворот, когда я приехал с Севера. Тогда ее фигура поразила меня. Потом я любовался ею в Колонном зале и в Консерватории. Потом на школьном балу... Изумительный зимний бал! А сейчас она уходит и не оглядывается. Раньше она всегда оглядывалась, когда уходила. Иногда она даже возвращалась, внимательно смотрела мне в лицо и спрашивала:

– Ты что-то хочешь мне сказать?

– Нет, ничего, – отвечал я со смехом, счастливый оттого, что она вернулась.

Она быстро оглядывалась по сторонам и говорила:

– Поцелуй меня!

И я целовал ее, пахнущую морозом, на площади или на углу улицы. Она любила эти мгновенные поцелуи на улице.

– Откуда им знать! – говорила она о людях, которые могли увидеть наш поцелуй. – Они ничего не знают! Может, мы брат и сестра. Правда?

Теперь она не оглядывается. Я стою, и мимо меня идут люди, обходят меня, как столб, как вещь. То и дело слышен смех. Идут по двое и по трое, и целыми группами, – совсем нет одиноких. Одинокому невыносимо на праздничной улице. Одинокие, наверное, сидят дома. Я стою и смотрю... Вот они уже скрылись в освещенном подъезде. Весь вечер они будут слушать оперу, наслаждаясь своей близостью. Надо мной в фиолетовом небе летит и никак не может улететь крылатая четверка коней. И в кармане у меня сто рублей. Совсем новая бумажка, которую я не истратил вчера...

Прошел год. Мир не разрушился, жизнь не остановилась. Я почти позабыл о Лиле. Да, я забыл о ней. Вернее, я старался не думать о ней. Зачем думать? Один раз я встретился с ней на улице. Правда, у меня похолодела спина, но я держался ровно. Я совсем потерял интерес к ее жизни. Я не спрашивал, как она живет, а она не спросила, как живу я.

Хотя у меня произошло за это время много нового. Год – это ведь очень много!

Я учусь в институте. Я очень хорошо учусь, никто не отвлекает меня от учебы, никто не зовет меня гулять. У меня много общественной работы. Я занимаюсь плаванием и уже выполнил норму первого разряда. Наконец-то я овладел кролем. Кроль – самый стремительный стиль. Впрочем, это не важно.

Однажды я получаю от нее письмо. Опять весна, снова май, легкий май, у меня очень легко на душе. Я люблю весну. Я сдаю экзамены и перехожу на второй курс. И вот я получаю от нее письмо. Она пишет, что вышла замуж. Еще она пишет, что уезжает с мужем на Север и очень просит прийти проводить ее. Она называет меня «милый», и она пишет в конце письма: «Твоя старая, старая знакомая».

Я долго сижу и смотрю на обои. У нас красивые обои с очень замысловатым рисунком. Я люблю смотреть на эти ри-

сунки. Конечно, я провожу ее, раз она хочет. Почему бы нет? Она не враг мой, она не сделала мне ничего плохого. Я провожу ее, тем более что я давно все забыл: мало ли чего не бывает в жизни! Разве все запомнишь, что случилось с тобой год назад!

И я еду на вокзал в тот день и час, которые написала она мне в письме. Долго ищу я ее на перроне, наконец нахожу. Я увидел ее внезапно и даже вздрогнул. Она стоит в светлом платье с открытыми руками, и первый загар уже тронул ее руки и лицо. У нее по-прежнему нежные руки. Но лицо изменилось, оно стало лицом женщины. Она уже не девочка, нет, не девочка... С ней стоят родные и муж – тот самый парень. Они все громко говорят и смеются, но я замечаю, как Лилия нетерпеливо оглядывается: она ждет меня.

Я подхожу. Она тотчас берет меня под руку.

– Я на одну минуту, – говорит она мужу с нежной улыбкой.

Муж кивает и приветливо смотрит на меня. Да, он меня помнит. Он великодушно протягивает мне руку. Потом мы с Лилей отходим.

– Ну вот я и дама, и уезжаю, и прощай, Москва, – говорит Лилия и грустно смотрит на башни вокзала. – Я рада, что ты приехал. Странно как-то все... Ты очень вырос. Как ты живешь?

– Хорошо, – отвечаю я и пытаюсь улыбнуться. Но улыбка у меня не получается, почему-то деревенеет лицо. Лилия внимательно смотрит на меня, лоб ее перерезает морщинка.

Это у нее всегда, когда она думает.

– Что с тобой? – спрашивает она.

– Ничего. Я просто рад за тебя... Давно вы поженились?

– Всего неделю. Это такое счастье!

– Да, это счастье.

Лиля смеется.

– Откуда тебе знать! Но постой, у тебя очень странное лицо!

– Это кажется. Это от солнца. Потом я немного устал, у меня ведь экзамены. Немецкий...

– Проклятый немецкий? – смеется она. – Помнишь, я тебе помогала?

– Да, я помню. – Я раздвигаю губы и улыбаюсь.

– Слушай, Алеша, в чем дело? – тревожно спрашивает Лиля, придвигаясь ко мне. И я опять близко вижу ее прекрасное лицо, из которого уже ушло что-то. Да, оно переменилось, оно теперь почти чужое мне. Лучше ли оно стало, я не могу решить. – Ты скрываешь что-то, – с упреком говорит она. – Раньше ты был не такой!

– Нет, нет, ты ошибаешься, – убежденно говорю я. – Просто я не спал ночь.

Она смотрит на часы. Потом оглядывается. Муж кивает ей.

– Сейчас! – кричит она ему и снова берет меня за руку. – Ты знаешь, как я счастлива! Порадуйся же за меня. Мы едем на Север, на работу... Помнишь, как ты рассказывал мне

о Севере? Вот... Ты рад за меня?

Зачем, зачем она спрашивает у меня об этом! Вдруг она начинает смеяться.

– Ты знаешь, я вспомнила... Помнишь, зимой на платформе мы с тобой поцеловались? Я тебя поцеловала, а ты дрожал так, что платформа скрипела. Ха-ха-ха... У тебя был тогда глупый вид.

Она смеется. Потом смотрит на меня веселыми серыми глазами. Днем глаза у нее серые. Только вечером они кажутся темными. На щеках у нее дрожат ямочки.

– Какие мы дураки были! – беспечно говорит она и оглядывается на мужа. Во взгляде ее нежность.

– Да, мы были дураки, – соглашаюсь я.

– Нет, дураки – не так, не то... Мы были просто глупые дети. Правда?

– Да, мы были глупые дети.

Впереди загорается зеленый огонек светофора. Лиля идет к вагону. Ее ждут.

– Ну, прощай! – говорит она. – Нет, до свиданья! Я тебе напишу, обязательно!

– Хорошо.

Я знаю, что она не напишет. Зачем? И она знает это. Она искоса взглядывает на меня и немного краснеет.

– Я все-таки рада, что ты приехал проводить. И, конечно, без цветов! Ты никогда не подарил мне ни одного цветка!

– Да, я не подарил тебе ничего...

Она оставляет мою руку, берет под руку мужа, и они поднимаются на площадку вагона. Мы остаемся внизу на платформе. Ее родные что-то спрашивают у меня, но я ничего не понимаю. Впереди низко и долго гудит электровоз. Вагоны трогаются. Удивительно мягко трогает электровоз вагоны. Все улыбаются, машут платками, кепками, кричат, идут рядом с вагонами. Играют сразу две или три гармошки в разных местах, в одном вагоне громко поют.

Наверно, студенты. Лиля уже далеко. Одной рукой она держится за плечо мужа, другой машет нам. Даже издали видно, какие нежные у нее руки. И еще видно, какая счастливая у нее улыбка.

Поезд уходит. Я закуриваю, засовываю руки в карманы и с потоком провожающих иду к выходу на площадь. Я сжимаю папиросу в зубах и смотрю на серебристые фонарные столбы. Они очень блестят от солнца, даже глазам больно. И я опускаю глаза. Теперь можно признаться: весь год во мне все-таки жила надежда. Теперь все кончено. Ну что ж, я рад за нее, честное слово, рад! Только почему-то очень болит сердце.

Обычное дело, девушка вышла замуж – это ведь всегда так случается. Девушки выходят замуж, это очень хорошо. Плохо только, что я не могу плакать. Последний раз я плакал в пятнадцать лет. Теперь мне двадцатый. И сердце стоит в горле и поднимается все выше – скоро его можно будет жевать, а я не могу плакать. Очень хорошо, что девушки выхо-

дят замуж...

Я выхожу на площадь, в глаза мне бросается циферблат часов на Казанском вокзале. Странные фигуры вместо цифр – я никогда не мог в них разобраться. Я подхожу к газировщице. Сначала я прошу с сиропом, но потом раздумываю и прошу чистой воды. Неловко пить с сиропом, когда сердце подступает к горлу. Я беру холодный стакан и набираю в рот воды, но не могу проглотить. Кое-как я глотаю наконец, всего один глоток. Кажется, стало легче.

Потом я спускаюсь в метро. Что-то случилось с моим лицом: я замечаю, что многие пристально на меня смотрят. Дома я некоторое время думаю о Лиле. Потом я снова начинаю рассматривать узоры на обоях. Если заглядеться на них, можно увидеть много любопытного. Можно увидеть джунгли и слонов с задранными хоботами. Или фигуры странных людей в беретах и плащах. Или лица своих знакомых. Только Лилиного лица нет на обоях...

Наверное, она сейчас проезжает мимо той платформы, на которой мы поцеловались в первый раз. Только сейчас платформа вся в зелени. Посмотрит ли она на эту платформу? Подумает ли обо мне? Впрочем, зачем ей смотреть? Она смотрит сейчас на своего мужа. Она его любит. Он очень красивый, ее муж.

Ничто не вечно в этом мире, даже горе. А жизнь не останавливается. Нет, никогда не останавливается жизнь, властно входит в твою душу, и все твои печали развеиваются, как дым, маленькие человеческие печали, совсем маленькие по сравнению с жизнью. Так прекрасно устроен мир.

Теперь я кончаю институт. Кончилась моя юность, отошла далеко-далеко, навсегда. И это хорошо: я взрослый человек и все могу, и мне не ерошат волосы, как ребенку. Скоро я поеду на Север. Не знаю, почему-то меня все тянет на Север. Наверное, потому, что я там охотился когда-то и был счастлив. Лилю я совсем забыл, ведь столько лет прошло! Было бы очень трудно жить, если бы ничто не забывалось. Но, к счастью, многое забывается. Конечно, она так и не написала мне с Севера. Где она — я не знаю, да и не хочу знать. Я о ней совсем не думаю. Жизнь у меня хороша. Правда, не стал я ни поэтом, ни музыкантом... Ну что ж, не всем быть поэтами! Спортивные соревнования, конференции, практика, экзамены — все это очень занимает меня, ни одной минуты нет свободной. Кроме того, я научился танцевать, познакомился со многими красивыми и умными девушками, встречаюсь с ними, в некоторых влюбляюсь, и они влюбляются в меня...

Но иногда мне снится Лиля. Она приходит ко мне во сне, и я вновь слышу ее голос, ее нежный смех, трогаю ее руки,

говорю с ней — о чем, я не помню. Иногда она печальна и томна, иногда радостна, на щеках ее дрожат ямочки, очень маленькие, совсем незаметные для чужого взгляда. И я тогда вновь оживаю, и тоже смеюсь, и чувствую себя юным и застенчивым, будто мне по-прежнему семнадцать лет и я люблю впервые в жизни.

Я просыпаюсь утром, еду в институт на лекции, дежурю в профкоме или выступаю на комсомольском собрании. Но мне почему-то тяжело в этот день и хочется побыть одному, посидеть где-нибудь с закрытыми глазами.

Но это бывает редко: раза четыре в год. И потом, это все сны. Сны, сны... Непрошенные сны!

Я не хочу снов. Я люблю, когда мне снится музыка. Говорят, если спать на правом боку, сны перестанут сниться. Я стану спать теперь на правом боку. Я буду спать крепко и утром просыпаться веселым. Жизнь ведь так прекрасна!

Ах, Господи, как я не хочу снов!

1956

На полустанке

Была пасмурная холодная осень. Низкое бревенчатое здание небольшой станции почернело от дождей. Второй день дул резкий северный ветер, свистел в чердачном окне, гудел в станционном колоколе, сильно раскачивал голые сучья берез.

У сломанной коновязи, низко свесив голову, расставив оплывшие ноги, стояла лошадь. Ветер откидывал у ней хвост в сторону, шевелил гривой, сеном на телеге, дергал за поводья. Но лошадь не поднимала головы и не открывала глаз: должно быть, думала о чем-то тяжелом или дремала.

Возле телеги на чемодане сидел вихрастый рябой парень в кожаном пальто, с грубым, тяжелым и плоским лицом. Он частыми затяжками курил дешевую папиросу, сплевывал, поглаживал подбородок красной короткопалой рукой, угрюмо смотрел в землю.

Рядом с ним стояла девушка с припухшими глазами и выбившейся из-под платка прядью волос. В лице ее, бледном и усталом, не было уже ни надежды, ни желания; оно казалось холодным, равнодушным. И только в тоскующих темных глазах ее притаилось что-то болезненно-невысказанное. Она терпеливо переступала короткими ногами в грязных ботиках, старалась стать спиной к ветру, не отрываясь смотрела на белое хрящеватое ухо парня.

Со слабым шорохом катились по перрону листья, собирались в кучи, шептались тоскливо о чем-то своем, потом, разгоняемые ветром, снова крутились по сырой земле, попадали в лужи и, прижавшись к воде, затихали. Кругом было сыро и зябко...

– Вот она, жизнь-то, как повернулась, а? – заговорил вдруг парень и усмехнулся одними губами. – Теперь мое дело – порядок! Чего мне теперь в колхозе? Дом? Дом пускай матери с сестрой достается, не жалко. Я в область явлюсь, сейчас мне тренера дадут, опять же, квартиру... Штангисты-то у нас какие? На соревнованиях был, видал: самолучшие еле на первый разряд идут. А я вон норму мастера жиманул за просто! Чуешь?

– А я как же? – тихо спросила девушка.

– Ты-то? – Парень покосился на нее, кашлянул. – Говорено было. Дай огляжусь – приеду. Мне сейчас некогда... Мне на рекорды давить надо. В Москву еще поеду, я им гам дам жизни. Мне вот одного жалко: не знал я этой механики раньше. А то бы давно... Как они там живут? Тренируются... А у меня сила нутряная, ты погоди маленько, я их там всех вместе поприжму. За границу ездить буду, житуха начнется – дай бог! Н-да... А к тебе приеду... Я потом это... напишу...

Вдали послышался слабый, неясный шум поезда; унылую тишину хмурого дня прорезал тонкий тягучий гудок; дверь станции хлопнула, на перрон, прячась в воротник шинели, вышел начальник станции с заспанным лицом, в красной фу-

ражке с темными пятнами мазута.

Он покосился на одиноких пассажиров, вытащил папиросу, помял ее в пальцах, понюхал и, посмотрев на небо, спрятал в карман. Потом, зевнув, сипло спросил:

– Какой вагон?

Парень тяжело повернул голову на короткой толстой шее, посмотрел на новые калоши начальника станции, полез за билетом.

– Девятый. А что?

– Ну-ну... – пробормотал начальник и снова зевнул. – Девятый, говоришь? Так... Девятый. А погода – сволочь. Ох-хо-хо...

Отвернулся и, обходя лужи, побрел к багажному отделению. Поезд показался из-за леса, быстро приблизился, сбавляя ход, прокричал еще раз, устало и тонко. Парень поднялся, бросил папиросу, посмотрел на девушку: та силилась улыбнуться, но губы не слушались, тряслись.

– А ну, хватит! – проворчал парень, нагибаясь за чемоданом. – Слыхала? Хватит, я говорю!

Они медленно пошли по перрону навстречу поезду. Девушка жадно заглядывала парню в лицо, держалась за рукав, говорила, путаясь и торопясь:

– Ты там берегись, слишком-то не подымай... А то жила какая-нибудь лопнет... О себе подумай, не надрывайся... Я что? Я ждать буду! В газетах про тебя искать буду... Ты обо мне не мечтай. Так я это, люблю тебя, вот и плачу, думаю...

– А ну, брось! – сказал парень. – Сказано – приеду...

Мимо них, сотрясая землю, прошел паровоз, обдав их теплом и влажным паром. Потом все медленней и медленней пошли усталые вагоны: один, другой, третий...

– Вон девятый! – быстро сказала девушка. – Подождем!

Вагон мягко остановился возле них. В тамбуре толпились измятые, бледные пассажиры, с любопытством выглядывали наружу. За окном стоял толстый небритый человек в полосатой пижаме и, наморщив маленький пухлый лобик, ожесточенно дергал раму. Рама не поддавалась, и пассажир страдальчески морщился. Наконец ему удалось открыть окно, он сейчас же высунулся, оглядывая с близоручкой улыбкой полустанок, увидел девушку, еще шире улыбнулся и слабо закричал:

– Девушка, это какая станция?

– Лунданка, – сипло сказал проводник.

– Базар есть? – спросил человек в пижаме, по-прежнему глядя на девушку.

– Нету базара, – опять отозвался проводник. – Две минуты стоим.

– Как же так? – изумился пассажир, все еще глядя на девушку.

– Закройте окно! – попросили из вагона капризным голосом.

Человек в пижаме обернулся, показывая пухлую спину, потом, жалко улыбаясь, закрыл окно и вдруг исчез, будто

провалился.

Парень поставил чемодан на подножку вагона, повернулся к девушке.

– Ну, прощай, что ли, – тяжело проговорил он и сунул руки в карманы.

У девушки поползли по щекам слезы. Она всхлипнула, уткнулась парню в плечо.

– Скучно мне будет, – шептала она. – Пиши почаще-то... Слышишь? Пиши-и... Ведь приедешь?

– Сказано уже, – неохотно и испуганно говорил парень. – Оботри слезы-то... Ну!

– Да я ничего, – шептала девушка, задыхаясь, быстро, побеличьи отирая слезы и влюбленно глядя в лицо парню. – Одна я остаюсь. Помни, о чем говорили-то...

– Я помню, мне что! – хмуро бормотал парень, задирая голову и поводя глазами.

– А мне... Я всю жизнь для тебя... Ты знай это!

– Сказано... – буркнул парень, равнодушно глядя себе под ноги.

Два раза надтреснуто, жидко ударил колокол.

– Гражданин, попрошу в вагон, останетесь... – сказал проводник и первым полез торопливо на площадку.

Девушка побледнела, схватилась рукою за рот.

– Вася! – закричала она и невидящим взглядом посмотрела на пассажиров: те сразу отвернулись. – Вася! Поцелуй же меня...

– Мне что... – пробормотал парень, затравленно покосился назад и нагнулся к девушке. Потом выпрямился, словно кончил тяжелую работу, вскочил на подножку. Девушка тихо ахнула, закусил прыгающую губу, закрыла лицо руками, но тотчас отняла руки...

Под вагонами зашипело, сдавленно крикнул впереди паровоз, и так же сдавленно отозвалось из леса короткое, глухое эхо. Вагоны едва уловимо тронулись. Заскрипели шпалы. Парень стоял на подножке, хмуро смотрел на девушку, потом покраснел и негромко крикнул:

– Слышь... Не приеду я больше! Слышь...

Он оскалился, сильно втянул в себя воздух, сказал еще что-то непонятное, злое и, взяв с подножки чемодан, боком полез в тамбур.

Девушка сразу как-то согнулась, опустила голову... Мимо нее мелькали вагоны, глухо дышали шпалы, что-то поскрипывало, попискивало, а она пристально, не мигая, смотрела на радужное пятно мазута на рельсе, скрывавшееся на мгновение под колесами и снова показывающееся, смотрела задумчиво, робко, незаметно для себя все ближе подвигаясь к этому пятну, будто манило, притягивало оно ее. Она напрягалась, прижимала руку к нестерпимо болевшему сердцу, робкие, почти еще детские губы ее все белели...

– Берегись! – раздался вдруг дикий крик над ее головой.

Девушка вздрогнула, моргнула, радужное пятно посветлело, поскрипывание шпал и стук колес прекратились, и,

подняв голову, она увидела, что последний вагон с круглым красным щитком на буфере неслышно, как по воздуху, уплывает все дальше. Тогда она подняла голову к низкому, равнодушному небу, стянула на лицо платок и завывала по-бабьи, качаясь, будто пьяная:

– Уеха-а-ал!..

Поезд быстро скрылся за ближним лесом. Стало тихо. Шаркая по земле ногами, подошел начальник станции, остановился за спиной девушки, зевнул.

– Уехал? – спросил он. – Н-да... Нынче все едут.

Помолчал, потом смачно плюнул, растер плевков ногой.

– Скоро и я уеду... – забормотал он. – На юг подамся. Тут скука, дожди... А там, на юге-то, теплынь! Эти – как их? – кипарисы...

Окинул взглядом фигуру девушки, долго смотрел на грязные ботики, спросил негромко и равнодушно:

– Вы не из «Красного маяка» будете? А? Н-да... Вон оно что... А погода-то – сволочь. Факт!

И ушел, волоча ноги, старательно обходя лужи.

Девушка долго еще стояла на пустой платформе, смотрела прямо перед собой и ничего не видела: ни темного, мокрого леса, ни тускло блестящих рельсов, ни бурой никлой травы... Видела она рябое и грубое лицо парня.

Наконец вздохнула, вытерла мокрое лицо, пошла к лошади. Отвязала лошадь, поправила шлею, перевернула сено, оскользнувшись, забралась на телегу, тронула вожжи. Ло-

шадь подалась назад, вяло махнула хвостом, сама завернула, с трудом переставляя ноги, пошла мимо палисадника, мимо стогов сена и сложенных крест-накрест шпал к проселочной дороге.

Девушка сидела не шевелясь, глядя поверх дуги, потом в последний раз оглянулась на полустанок и легла в телеге ничком.

1954

Некрасивая

Свадьба была в самом разгаре. Жениха с невестой давно свели в другую избу, прокричали по деревне первые петухи, а гармонист все играл, изба дрожала от дробного топота, ослепительно и жарко горели пять ламп, и на окнах еще висели неугомонные ребята.

Много было выпито и съедено, много пролито слез, много спето и сплясано. Но каждый раз на стол ставилась еще водка и закуска, гармониста сменял патефон с фокстротами и танго, топот и присядку – шарканье подошв, и веселье не убывало, все слышнее становилось на улице и еще дальше, в поле и у реки, и теперь во всех окрестных деревнях знали, что в Подворье гуляют.

Всем было весело, только Соне было тяжело и тоскливо на душе. Острый нос ее покраснел от выпитой водки, в голове шумело, сердце больно билось от обиды, оттого, что никто ее не замечает, что всем весело, все в этот вечер влюблены друг в друга, и только в нее никто не влюблен и никто не приглашает танцевать.

Она знала, что некрасива, стыдилась своей худой спины и столько уж раз давала зарок не ходить на вечера, где танцуют и поют, и влюбляются, но каждый раз не выдерживала и шла, все надеясь на какое-то счастье.

Даже раньше, когда она была моложе и училась в инсти-

туте, в нее никто не влюблялся. Ее ни разу не проводили домой, ни разу не поцеловали. Она окончила институт, поехала работать в деревню, ей дали комнату при школе. Вечерами она проверяла тетради, читала, учила на память стихи о любви, ходила в кино, писала длинные письма подругам и тосковала. За два года почти все подруги ее вышли замуж, а у нее за это время еще больше поблекло лицо и похудела спина.

И вот ее, словно в насмешку, пригласили на свадьбу, и она пришла. Она жадно смотрела на счастливую невесту, вместе со всеми кричала слабым голосом: «Горько!» – и ей было действительно горько от мысли, что своей свадьбы она никогда не сыграет.

Ее познакомили с ветеринарным фельдшером Николаем, мрачным парнем с резким красивым лицом и черными глазами. Их посадили рядом, и он пробовал сначала ухаживать за ней. Соня пила и ела все, что он предлагал, благодарила взглядом, и ей казалось, что взгляд ее выразителен и полон интимной нежности.

Но Николай почему-то все больше мрачнел, скоро перестал ухаживать за ней, начал заговаривать с кем-то через стол. Потом он совсем ушел от нее, много плясал, вскрикивая, болтая длинными руками, изумленно озирался кругом, подходил к столу, пил водку. А после вышел в сени и больше не вернулся.

Теперь Соня сидела одна в углу, думала о своей жизни,

презирала всех этих довольных и счастливых, пьяных, нотных, презирала и жалела себя.

Недавно она сшила платье, очень хорошее темно-синее платье. Все хвалили его и говорили, что оно ей к лицу. И вот платье не помогло, и все осталось как было...

Часа в три ночи Соня, всеми забытая, несчастная, с красными пятнами на щеках, вышла в сени и оттуда – на крыльцо.

Избы стояли черные. Деревня спала, везде было тихо, только из открытых окон избы, где гуляли, неслись в темноту пронзительные звуки гармошки, крики и топот ног. Свет пятнами падал на траву, и трава казалась рыжей.

У Сони задрожал подбородок. Она закусил губу, но это не помогло. Тогда она сошла с крыльца, еле смогла дойти до березы, нежно белеющей в темноте, привалилась к ней плечом и зарыдала. Ей было стыдно рыданий, она боялась, что услышат, и, чтобы не услышали, зажала в зубы душистый платок. Но ее никто не слышал. «Ну, довольно! – говорила себе Соня, крепко закрывая глаза. – Ну, хватит же! Больше не надо! Нужно идти!» И она хотела идти, откачивалась от березы, а ноги не держали ее, и идти она не могла.

– Что такое? – громко спросил кто-то сзади.

Соня затаила дыхание, быстро вынула изо рта платок, вытерла о плечо лицо, не отпуская березы, стыдливо оглянулась. Это был Николай. Его качало, чтобы не упасть, он схватил ее за плечо. Рука его была перепачкана землей.

– А! – пьяно сказал он, – Это вы? А я... на огороде... был. – Он качнулся и прижался к ней. – На свадьбу, сволочь, пригласил! – с усилием выговорил он. – А! Убью! Теперь все! Литром хотел откупиться... Врешь, гад! Меня не купишь!

Николай заскрипел зубами и матерно выругался.

– Вам плохо? – испуганно спросила Соня. – Хотите воды?

– Кого? Мутит меня...

Он оторвался от Сони и пошел за угол. Соне стало его жалко. Она принесла из сеней ведро воды, стала поливать ему на голову. Он покорно нагибался, фыркал, бубнил что-то невнятное.

Потом с мокрой головой, в рубашке, он сидел на крыльце и курил, а Соня отмывала пиджак.

– Вам легче теперь? – тихо спросила она, боясь, что кто-нибудь выйдет и увидит ее.

– Малость полегчало... Чего это я вас раньше не видел? Я тут всех знаю.

– Я редко хожу на гулянки.

– А! Вы при школе живете?

– При школе.

– Провожу, желаете?

Николай встал, надел пиджак, помотал головой и пошел в сени напиться.

– Вы чего плакали-то? – спросил он, вернувшись. – Обидел кто?

У Сони благодарно забилося сердце. Она опустила голову.

– Нет, никто не обидел...

– А то вы скажите! Если кто тронул, я ему, гаду, ребра поломаю! – Николай взял Соню под руку, они перешли пыльную дорогу, свернули налево, пошли тропинкой мимо плетней и огородов. Роса уже нала, трава была мокрой.

Соне хотелось смеяться. Она была для себя сейчас как чужая. Ей хотелось положить голову Николаю на плечо, но она стыдилась этого желания, а когда Николай, качнувшись, прижимался к ней, она поспешно отстранялась.

– Послушайте, вы совсем пьяный! – с нежным укором, как старому знакомому, говорила она ему.

– Ну да! – Николай тер себе рукою лицо. – Какой там пьяный.

Они подошли к школе и поднялись на крыльцо. Соня растерялась. Она не знала, что делать: уйти сразу или постоять? Сначала она хотела уйти, но, испугавшись, что Николай обидится, осталась.

Николай почему-то опять опьянел, сипло дышал, держал Соню за руку.

– Ну расскажите же что-нибудь, – попросила она, поднимая к небу бледное в темноте лицо.

– Чего там рассказывать?... – хрипло сказал он, схватил ее, сжал так, что хрустнули кости, и стал целовать мокрыми губами.

– Пустите! – шептала она, вырываясь. – Пустите!

– Тихо! – говорил он шепотом, толкал ее в темные сени. –

Тихо! Чего ты, ну чего ты, дура!

В сенях он прижал ее к стене.

– Коля... Успокойся, милый! Боже мой, что же это?

– Любить меня? – бормотал Николай. – У, собака!

– Не надо, Коля, не надо! – сказала она вдруг так печально, что Николай выпустил ее.

Отдышавшись, он покашлял немного, закурил, посмотрел при свете спички ей в лицо.

– Ну ладно... – сказал он. – Не сердись! Ты вот что... Ты приходи завтра к риге. Придешь?

– Когда? – спросила шепотом Соня, вся дрожа.

– Часов в семь. Ладно?

– Приду...

– Ага... – Николай несколько раз жадно затянулся, бросил окурок, долго притаптывал его каблуком. – Ну, пока!

Он еще раз поцеловал ее, но уже спокойно, помял ей ладонью лицо, сошел с крыльца и пропал в темноте. Через минуту он запел. Песня была пьяной и фальшивой.

Дома Соня осторожно ходила по комнате, раздевалась, пила холодный чай. Раздевшись, в одной рубашке она подошла к зеркалу, долго с грустью смотрела на свое лицо, острые плечи и ключицы. «Боже мой, какая я страшная! – подумала она и вздрогнула. – Надо пить рыбий жир! Обязательно рыбий жир!»

Она полезла в стол и прямо из масленки стала есть сливочное масло. Масло было ей противно, но она глотала его

ложками и думала о Николае. Потом она потушила свет и легла, но заснуть не могла. В Москве, против ее дома, горел фонарь, росли липы, и тени от них всю ночь трепетали на стеклах. Здесь за окном была глухая тьма.

— Это любовь? — спрашивала вслух Соня и поворачивалась к стене.

Весь следующий день Соня была сама не своя. С утра пошел было дождь. Диктуя ребятам какой-то отрывок, Соня с испугом смотрела в окно на мокрых кур и лужи. Но дождь прошел, небо очистилось, и к вечеру проезжающие мимо школы автомашины оставляли уже за собой хвосты пыли.

После работы Соня села писать подруге. Она писала о том, что вчера один парень провожал ее и сегодня назначил свидание. Письмо получилось большим и веселым. Окончив его, Соня почему-то решила, что влюблена в Николая. Она отнесла письмо на почту, пришла и легла, повернувшись к стене.

Она думала, придет Николай или нет, а если придет, то как будет держать себя и что говорить. Еще со страхом думала она, что ей делать, если он опять станет целовать ее. Эти мысли так расстроили ее, что у нее тряслись руки, когда она стала одеваться.

Она надела вечернее темно-синее платье, завila немножко волосы и надушилась. Ладони ее потели.

Когда она шла по деревне, ей казалось, что из всех окон на нее смотрят и что все знают, куда и зачем она идет. Ей

было стыдно, она хотела прибавить шагу и не могла. Только в поле она вздохнула свободнее. Было тепло, дорога слегка пылила, солнце опускалось в багровую дымку. На меже, близ дороги, стоял трактор. Замасленный тракторист ковырялся в моторе. Увидев Соню, он разогнулся, вытер о штаны руки, закурил и задумчиво посмотрел ей вслед.

Сойдя в ложок, на дне которого не высыхала никогда исследованная коровами грязь, Соня вдруг испугалась, что Николай может прийти раньше и уйти, не дождавшись ее. Она прибавила шагу, потом побежала.

Она остановилась, когда вдали показалась рига. Никого не было возле риги, и Соня обрадовалась. Она немного передохнула, потом сняла и вытерла травой запыленные туфли. Ей показалось неудобным сидеть со стороны дороги, и она перешла на другую сторону. Там было тепло, от нагревшейся за день стены шел жар.

Пришел мальчишка с удочками, стал рыть червей. Соня, покраснев, опять вышла к дороге. По дороге ехали на телегах из города, посматривали в ее сторону, а мальчишка, как назло, долго не уходил. Соне стало жарко. Наконец мальчишка, накопав червей, ушел. Несколько раз он насмешливо обернулся. «Он догадался! – со стыдом думала Соня. – Хорошо, что он не из моей школы!»

Она опять спряталась за ригу, сорвала ромашку. Лепестки у ромашки были опущены, она была похожа на ракету. Соня стала отрывать лепестки. «Придет, не придет...» Вышло:

не придет. Хуже всего было, что Соня не знала, откуда придет Николай. Она вставала, выходила из-за риги, оглядывалась, снова пряталась. Она совсем измучилась, когда показался Николай. Он шел низом от реки, засунув руки в карманы, в накинутах на плечи пиджаке. Подходя, он с напряженным вниманием разглядывал Соню, как человек, что-то забывший и силившийся вспомнить. Лицо его делалось все скучней. Подойдя, он отвел глаза и вяло протянул руку.

– Привет...

– Здравствуйте, – ответила Соня, не смея поднять глаз.

– Давно ждете?

– Нет...

– Гм... Ну, зайдем в холодок.

Они обошли ригу и сели на ворохе соломы лицом к дороге. Солнце заходило, все меркло, тень от риги протянулась через все поле.

– Благополучно вчера дошли? – спросила Соня, быстро взглядывая на Николая и сочувственно, понимающе улыбаясь.

– Нормально... – Николай зевнул и снял пиджак. – Не выспался только.

– Вы вчера были нехороший, – мягко сказала Соня.

– Чего еще! – Николай равнодушно обнял Соню, притянул, хотел поцеловать, но раздумал, подышал только за ворот.

– Скоро стемнеет, – заметила Соня, покорно прикикая

к Николаю и слыша гулкие удары его сердца.

— Как попозднеет, пойдем в горох, а? — Николай мотнул головой куда-то вправо. — Там шалаш есть. Пойдешь?

— Не надо об этом, Коля, — тихо попросила Соня и вздохнула.

— Эх, — воскликнул вдруг Николай. — Спать охота! Ну-ка, дай прилягу...

Он отодвинулся и лег, разбросав ноги в сапогах, положил голову Соне на колени. Полежав немного с закрытыми глазами, он закинул руку и схватил Соню за бок.

— Чего это ты худая такая?

Соня перестала на минуту дышать.

— Конституция такая, — насильно улыбаясь, сказала она.

— Ну, конституция! Наверно, большая чем-нибудь. Это как скотина: заболела — как ни корми, все одни мосляки.

Соне вдруг стало все безразлично, и она несколько раз сглатывала, чтобы избавиться от противного ощущения тошноты.

— Почему вы такой грубый! — вдруг низко сказала она. — Или вы думаете, что со мной все можно?

Она резко отвернулась и стала медленно краснеть:

— Не смейте так говорить со мной! Слышите!

Она закусила нижнюю губу и рукавом крепко вытерла глаза. Потом, по-прежнему напряженно глядя в поле, шевельнула коленями.

— И уходите! Я вам не скотина, снимите голову, слышите!

Оставьте меня!

Николай смущенно сел.

– Ну, ну... – забормотал он. – Извиняюсь! Ну вот, знал бы... Не хотел – гад буду! Это по работе – привыкнешь.

– Нет, не по работе, – уже спокойно, грустно сказала Соня и опустила голову. – А потому что...

Она теребила платок, пальцы ее дрожали, лица не было видно.

– Потому что вы решили: раз я пришла, так чего же со мной стесняться!

Николай крепко поскреб в затылке и ничего не сказал.

– Что это вы ругались вчера? – спросила Соня после долгого молчания.

– Так... – Николай нахмурился. – У меня с ним свои счеты. Он, гад, Зойку у меня отбил, женился. Видала вчера невесту? Гулял я с ней...

– Вас, наверное, многие девушки любят, – сказала Соня.

– А! – Николай сморщился, как от кислого, и опять положил голову ей на колени. – Знаю я ихнюю любовь!

– Зачем вы так, Коля? – быстро сказала Соня. – Нужно верить людям! Вы посмотрите, какие чудесные у нас люди!

Николай поднял голову и сплюнул.

– Вы не верите? – упавшим голосом спросила Соня.

– В чего это?

– В чистоту человека.

Николай засмеялся.

– Ох, и любят же бабы воду мутить! Чистота... – Он поворожался, зевнул и закрыл глаза.

От его большой ленивой фигуры, крепкой шеи, неподвижного, жесткого в наступающих сумерках, красивого лица веяло чугунной силой.

Соня дрожащей рукой стала перебирать волосы Николая, жадно глядела на него, все еще стыдась и краснея.

– Коля!.. Вы ведь хороший, я знаю, у вас душа хорошая, – сказала она еле слышно.

– Обожди! – Он поднял голову и прислушался. Потом сел, опираясь рукой о ее колени.

По дороге, тихо разговаривая, шли двое.

– Эй! – крикнул Николай.

– Зачем вы, Коля?! – шепнула Соня, пряча лицо.

Шедшие остановились.

– Куда это? – опять крикнул Николай.

– На гулянку. А кто это? Никак Николай!

– Он самый. Где гулянка-то?

– В Сосновке.

На дороге закурили и, посвечивая огоньками, пошли дальше. Николай посмотрел им вслед.

– Погодите! – крикнул он вдруг. – И я с вами!

Он торопливо встал, встряхнул пиджак, накиннул на плечи. Потом, кашлянув, протянул руку Соне.

– Ну, пока! Еще когда повидаемся... – Отвернулся и, придерживая пиджак, рысцой стал догонять тех, на дороге.

Совсем стемнело. Сбоку вылупился тонкий месяц, от реки по лугам пополз прозрачный туман. Звуки умирали, один раз только за ригой что-то пробежало: «топ-топ-топ»...

Соня сидела, привалясь спиной к стене, подняв кверху лицо. Ее трясло. Она стягивала рукой ворот у горла, думала, полегчает, но не легчало. Она пробовала заплакать, но звук, вырвавшийся из груди, был так низок и страшен, что она испугалась, сидела окаменев.

Наконец она встала, держась за стену, постояла немного и пошла домой. Едва отошла она от реки, стало сухо и тепло. Опять шла она мягкой дорогой, но теперь ей светили звезды. Нежно пахло сеном и придорожной пылью. От сияния Млечного Пути тьмы полной не было, по сторонам виднелись то стога сена, то копешки льна, то светлело неубранное поле ржи.

– У-у! – сказала Соня все тем же низким, страшным звуком. – У-у!..

Больше она не могла ничего сказать и ни о чем подумать. Опять спустилась она в сырой ложок, поднялась наверх. Трактор, что давеча чинился у дороги, теперь пахал далеко в поле. Чуть видна была звездочка его фары, слышен был слабый стрекот мотора. Потом ей стало легче. Она вдруг увидела пронзительную красоту мира, и как, медленно перечеркивая небо, валились звезды, и ночь, и далекие костры, которые, может быть, чудились ей, и добрых людей возле этих костров и почувствовала уже усталую, покойную си-

ду земли. Она подумала о себе, что она все-таки женщина и что, как бы там ни было, у нее есть сердце, есть душа, и что счастлив будет тот, кто это поймет. О! Тупой, тупой дурак – какую силу и прелесть чувствовала она в себе, как легко и яростно стало ей, как решительно зашагала и как, наверное, хороша стала в темноте – одинокая под полыхающими, падающими звездами.

Скоро показалась темная деревня. Многие уже спали, в редких избах горел огонь. Из-под ворот вылезла крупная белая собака. Увидев Соню, собака молча забежала сзади, стала нюхать. «А ну! Попробуй укуси!» – задыхаясь от мстительной отваги, подумала Соня и повернулась к ней лицом. Но собака не укусила, только дунула два раза на ноги и побежала в темноту. Соня пошла дальше, и ей стало совсем легко.

1956

Странник

1

Шел по обочине шоссе, глядя вдаль, туда, где над грядой пологих холмов стояли комковатые летние облака. На встречу ему туго бил ветер, раздувал мягкую, выгоревшую на солнце бородку. На глаза часто набегали слезы, он вытирал их грязным, заглубевшим пальцем, опять, не моргая, смотрел вперед, в слепящее марево. Его обгоняли автомашины, бешено жужжа шинами по асфальту, но он не просил подвезти, упрямо чернел на сером, блестящем посередине от масла шоссе.

Был он молод, высок, немного сутуловат, шагал широко и твердо. Резиновые сапоги, зимняя драная шапка, котомка за плечами, теплое вытертое пальто – все это сидело на нем ловко, не тяготило и не мешало.

Думал ли он о чем-нибудь, шагая мимо деревень, лесов, мимо рек, зеленых полей и бурых паров? Синие его глаза в красных веках не смотрели ни на что внимательно, ни на чем подолгу не останавливались, блуждали по далям, по белым облакам, заволакивались слезами, потом опять бездумно глядели. Звонко стучала по асфальту ореховая, позелененная травой палка. Подкрадывались к шоссе кусты, задум-

чиво подходили большие старые березы и вновь неслышно уходили, не в силах скрыть великого простора полей.

Солнце перевалило за полдень, стало жарче и суше, ветер нес запах теплого сена, разогретого асфальта, а странник все так же ходко шагал, постукивал палкой, и неизвестно было, куда он идет и сколько еще будет идти.

Наконец он заметил очень далеко справа белую черточку — колокольню. А заметив, скоро свернул на пыльный проселок и пошел уже медленней. Дойдя до чистой глубокой речки, он сел в тени кустов, снял котомку, вынул яйца, хлеб и стал есть. Жевал он медленно, тщательно оглядывая кусок, прежде чем положить в рот. Наевшись, перекрестился, смахнул с бороды и усов крошки, тяжело поднялся, пошел к речке напиться. Напившись и вымыв лицо, он вернулся, забрался еще глубже в кусты, положил котомку под голову, поднял воротник, надвинул на лицо шапку и мгновенно уснул крепким сном сильно уставшего человека.

Спал он долго и проснулся, когда солнце село уже за холмы. Протер нагноившиеся глаза и долго зевал, чесался, оглядываясь и не понимая, где он и зачем сюда попал. Опухшее от сна лицо его не выражало ничего, кроме скуки и лени.

По дороге в сторону шоссе проехала машина с бидонами молока. Странник посмотрел вслед машине, лицо его ожило, он быстро надел котомку, вышел на дорогу, перешел мосток над речкой и пошел к деревне, замеченной им еще днем.

Справа начались сочно-зеленые темнеющие овсы, потом потянулся двойной рядок елок. Солнце скрылось, оставив после себя узкую кровавую полосу заката. Эта полоса светилась сквозь черный ельник, и смотреть на это свечение и одновременно черноту было жутко. Странник заспешил, поднимая сапогами пыль. Он боялся темноты и не любил ночи.

А запахи пошли теперь другие. Пахло похолодевшей травой, пылью на дороге, томительно благоухали донник и медовый тысячелистник, от елок шел крепкий смолистый дух. Небо было чисто и глубоко, потемнело, будто задумалось, и ясно был виден слева молочно-белый молодой месяц.

Дорога стала петлять лесом, оврагами. Странник шел все торопливее, шевелил ноздрями, втягивал воздух по-звериному, часто оглядывался. Раза два он попробовал затянуть

песню, но скоро смолкал, подавленный сумеречной тишиной.

Наконец запахло жильем, попалась поскотина, он пошел спокойнее, зорко глядя вперед. Скоро разбежались, остались сзади кусты и деревья, и он увидел большую деревню с речкой внизу и церковью на горке. Весь низ у реки был занят скотными дворами и там, несмотря на подкравшуюся темноту, чувствовалась еще жизнь, как чувствуется она вечером в улье с пчелами.

Уже дойдя почти до гумна, странник заметил вдруг идущую снизу, от скотных дворов к деревне, женщину и остановился, поджидая. Когда женщина подошла, странник сдернул с головы шапку, поклонился низким поклоном и, кланяясь, пытливо поглядел ей в лицо.

– Здравствуй, мать! Храни тебя Господь, – сказал он глухо и важно.

– И вы здравствуйте, – помедлив, отозвалась она, поправила платок, облизала сухие губы.

– Здешняя?

– Я-то? Здешняя... А вы чей будете?

– Дальний я. Хожу по святым местам. Странник, значит.

Женщина с любопытством оглядела его, хотела спросить что-то, но застеснялась, тихо тронулась дальше. Странник пошел рядом с ней, сохраняя на лице твердость и важность.

– Церковь работает? – спросил он, вглядываясь в золотисто-розовый крест колокольни.

– Церква-то? Где ж работать! Не служат... МТС в ней те-
перича. Батюшка был, да дюже старый, помер годов уж два-
дцать.

– В безверии, значит?

Женщина смутилась, снова поправила платок, вздохну-
ла, опустил глаза. Странник искоса глянул на нее. Была она
нестара еще, но с темным, заветренным лицом и такими же
темными руками. Сквозь выгоревшую старую кофту просту-
пали худые плечи, и почти не выделялись плоские груди.

– Где уж! – сокрушенно сказала она. – Молодежь-то нон-
че, знаешь какая, не верит. Ну а у нас тоже работа круглый
год да свое хозяйство, ни до чего. Батюшка когда наезжает,
молебен на кладбище отслужим, вот и вся наша вера...

– Так... – протянул печально странник. – Эх, люди, люди!
Сердце мое болит, глаза бы не глядели на житье ваше! Сами
себе яму роете...

Женщина грустно молчала. Улица была темна, только в
пруду стекленела вода, плавали вдоль осоки две припозднив-
шиеся утки, жадно глотали ряску, торопясь наесться на ночь.

– Есть тут хоть кто верующий, божьему человеку приют
дать? – с тоской спросил странник.

– Это переночевать, значит? Да что ж, хоть у меня ночуй-
те, места не пролежите.

Больше до самого дома ни странник, ни женщина не ска-
зали ни слова. Только отпирая дверь, она спросила:

– Звать-то вас как?

– Иоанн! – по-прежнему важно и твердо сказал странник.

Женщина вздохнула, думая, быть может, о грехах своих, открыла дверь, и они вошли в темные пахучие сени, а оттуда – в избу.

– Раздевайтесь, отдохните... – сказала хозяйка и вышла.

Иоанн снял котомку, пальто, стал разуваться. Долго с печальным лицом нюхал портянки, чесал большие набрякшие ступни, осматривался.

Когда снова вошла хозяйка, Иоанн сидел уже в одной рубашке, копался в котомке. Он вынул оттуда Евангелие, толстую тетрадь с надписью «Поминальница святого Иоанна» и большим крестом на обложке, пошарив, нашел огрызок карандаша, раскрыл тетрадь, подумав, спросил строго:

– Была в сем доме смерть?

Хозяйка вздрогнула, повернулась, пристально посмотрела на странного бородатого человека.

– Была, – негромко сказала она. – По весне сынок у меня помер. Шофером он работал в колхозе, через реку стал переезжать...

– Имя! – сурово остановил ее странник.

– Чего? – не поняла она.

– Имя, имя! Сына имя! – раздраженно прикрикнул он на нее.

– Сыночка-то? Федей звали... Говорили ему, погоди, не ездий, не погниют твои товары – части какие-то для МТС вез – стороной объезжай, через мост, лед ведь сейчас тронется...

Не послушал, горячий был... Утоп... Сыночек-то – утоп...
– Буду молиться! – перебил ее Иоанн, выписывая в тетради крупно: «Федор». – Тебя как звать?
– Настасья...
– Так... Настасья. Одна живешь?
– Вдвоем. С дочкой. Не дочка она мне, женка Федина, да я уж с ней...
– Муж был?
– Был, как не быть... На фронте погиб, в сорок втором...
– Имя?
– Михаилом звали...
– Так... – Иоанн помолчал. – Невестку как звать?
– Люба... Любовь, значит.
– Знаю, – сказал странник, записывая. – Хорошая?
– Это как же? – не поняла Настасья.
– Поведения хорошего? В Бога верует?
– Нет... В Бога не верует, комсомолка, а так не согрешу – хорошая. Зоотехникум кончила, работает, значит, на ферме, да еще завклубом ее поставили. Клуб у нас, так она в нем еще вечерами. Устает – день там, вечер там, да я и не перечу, конечно, скука одной-то, молодая, годочек только и прожили... Сынок-то, Феденька... Из армии пришел, мамуня, говорит... Мамуня...

Настасья сморщилась, сухие губы ее затряслись, но темным худым щекам покатались слезы. Странник сурово молчал.

– Садитесь, повечеряйте... – сквозь слезы сказала Настасья. – Самовар сейчас вздую...

– Иконы есть?

– Есть... Жены-мироносицы, Троеручица Божья Матерь...

– Где? Проводи.

– Вон на той половине, пойдемте...

Она отворила дверь в чистую горницу. Иоанн со скучным лицом, тяжело ступая по половикам, пошел за ней, захватив «Поминальницу».

– Выйди, – сказал он, увидев иконы. – Молиться буду.

Со стуком опустился на колени, задрал бородку. Настасья тихонько вышла.

– Господи! – глубоким голосом воскликнул Иоанн. – Господи!

И замолк, засмотрелся в окно на неподвижные яблони. Настасья собирала на стол, звякала посудой. Эти тихие звуки, эти долгие летние сумерки были странно приятны ему, сладко трогали сердце. Сколько деревень он повидал, где только не ночевал! Все было разное везде: люди, обычаи, говор... И только сумерки, запахи жилья, хлеба, звуки везде были одинаковые.

Смотрел Иоанн в окно, вытягивал шею: вниз, за огородами, – река, за рекой – поля, лес... Из лесу выполз уже туман, покрыл луга молочными прядями, скатывался потихоньку вниз, к реке.

– Господи! – вздыхал Иоанн и снова слушал тихое звяканье посуды, смотрел в окно, вдали.

Настасья осторожно заглянула в горницу, увидела лохматую, давно не стриженную голову, темную шею, широкие твердые лопатки, большие ступни подвернутых ног.

Но странник не шевельнулся, не ответил, думал о чем-то, упираясь длинными руками в пол. Настасья ушла, поставила на крыльце самовар, стала доить корову.

А странник услышал через минуту в сенях легкие шаги, подумал торопливо: «Девка!», настороженно повернул голову. Стукнула дверь, на пороге горницы шаги замерли. Иоанн задрал бородку, широко перекрестился, глядя в темные лики икон: знал, что пришедшая изумленно смотрит на него.

Молчание. Потом шаги быстро застучали обратно в сени. Иоанн вскочил, беззвучно подошел к двери, приложился бурым ухом.

– Мама!

– Чего ты? – Равномерное цвирканье молока по ведру прекратилось.

– Мама, что это за человек у нас?

– Так... Проходящий какой-то. Странник, веру ищет, ночевать попросился.

– Странник? Старый?

– С бородой, а так не дуже... Глаза у него молодые.

– Проходимец, может, какой-нибудь?

– Что ты, Христос с тобой! Человек божественный, моля-

щий...

Молчание. Только слабо похрюкивает поросенок. Опять слышались равномерно-быстрые тугие звуки молока по ведру.

– Поросятка кормили?

– Не, не поспела еще. Там я намешала ему, за печью...

– Я покормлю.

Иоанн тенью метнулся от дверей в горницу, припал на колени, задрал бородку. «Стерва! – злобно думал он. – Выгонит еще, поночевать не даст!»

А в избе слышались тихие хозяйственные звуки, тьма скоплялась по углам, уже ничего нельзя было разобрать – ни ликов икон, ни фотокарточек, ни почетных грамот, – все пропадало в темноте, все становилось волнующе-таинственным, войти в избу лесные тени. Когда стало совсем темно, а месяц над лесом побелел и стал осторожно заглядывать в окна, внесли горящую яркую лампу, зашумел самовар на столе, странник вышел из горницы, сунул в котомку Евангелие с «Поминальницей», сел на лавку, щурясь, стал следить за Любой.

Сели ужинать. Ел странник жадно и много, громко глотая, шевеля бородой и ушами.

– Кушайте, кушайте... – говорила Настасья, подвигая к нему еду.

А он, поднимая воспаленные синие глаза от тарелки, каждый раз взглядывал на Любу, и та, чувствуя его взгляд, розовея скулами, нервничала, подрагивала бровью. Была она красива неяркой смуглой красотой, осталось в ней что-то от девушки – угловатость движений, неуловимая бегучесть глаз, робкая грудь...

Поглядывал на нее странник, нравилась она чем-то ему, и начинал он уже думать, что хорошо бы обрить бороду, жениться на такой девке, работать по хозяйству, спать с ней на сеновале, целовать ее до третьих петухов... От таких мыслей взбухало сердце, звенело в голове.

– Кушайте, не стесняйтесь... – просила его Настасья. – Вот грибочков попробуйте, нонче рано грибочки пошли.

Наевшись, Иоанн перекрестился, привычно поклонился хозяйке и Любе, отодвинулся от стола, хотел рыгнуть, но застеснялся, стерпел, стал свертывать папиросу, рассыпая на колени табак и подбирая его.

– Курю вот, – сожалеюще сказал он. – Курю... Бес искушает, сколько разов уже каялся, епитимью накладывал – не

могу...

Люба вдруг засмеялась; отворачиваясь, отошла к печке. Настасья засуетилась, приподнялась, умоляюще глядя на странника.

– Чего ты, ну чего ты! Сбесилась ай нет?

Люба молчала; прикрывая глаза ресницами, сдерживала смех.

– Да, – повышая голос, сказал странник. – Умны многие стали, не верят, а бес-то тут как тут... Мельтешат все, жизнь суетливая стала, мыслей настоящих нету, машина все... Съела человека машина! В Апокалипсисе об этом прямо сказано.

Люба, усмехаясь, уже открыто смотрела на него.

– Что смотришь? – спросил грубо Иоанн, ощущая в груди веселую злость к ней. – Или не нравлюсь? Не видала таких-то? Может, жалеешь, что за стол сел?

– Чтой-то вы, Бог с вами! – испугалась Настасья.

– Стола мне не жалко, избы тоже... – звонко сказала Люба. – Мамино это дело. А если уж прямо говорить... Смешно, конечно. Что вы ходите? Не стыдно вам? Бороду вот отраслили... Думаете, от бороды святости прибавится? Честное слово, прямо как в самодеятельности у нас!

– А ты не пошла бы?

– Я? Нет, я работу люблю.

– Работу... – Странник засопел, стал смотреть в угол. – Глупая ты девка. В чем ваша работа? В Бога не верите, а

он есть и пребудет вовек! Работа... Эх, вы-ы! Я вот хожу, смотрю...

– Смотреть легко, – небрежно вставила Люба.

– Я вот хожу, смотрю, – продолжал странник громче. – Что вы делаете? Как живете? Лучше ль стало на земле жить? Хуже! Истинно тебе говорю – хуже! Воров стало больше, разврату больше. Евангелие святое читаю... Вот она, книга-то! – Он похлопал рукой по котомке. – Этого в техникамах да в институтах ваших нету... Нету!

– И не надо... – зевая, сказала вдруг Люба. – Без этого обходимся. Что-то устала я, пойду лягу... Спасибо, мама.

Она отошла от печки, взяла что-то в комоде, прошла мимо, обдав странника запахом здорового, чистого женского тела, вышла в сени, стукнув дверью.

– Гордая девка, – перехваченным голосом сказал странник и усмехнулся. – Хара-актер!

– Что ж, молодые они, – примирительно отозвалась Настасья, убирая со стола. – Понятия другие. Смелые они теперь... Вы не обижайтесь. Жизнь-то у нее нелегкая. Молодая, красивая, а... вдова.

– Н-да-а, – обронил задумчиво странник. – Господь, значит, рассудил так. Я вот тоже не думал странником стать. Конечно, интерес к жизни у меня, с другой стороны, был. Псковской я сам, из деревни Подсосонье, не слыхала? Родителей моих в войну побило, царство им небесное, остался я один, как быть? Туда-сюда мыкался, работал, поля размини-

ровал, взорвалась одна мина, ранила меня в живот, под самый дых, еле жив остался, инвалидом стал... Ну а что инвалиду? Работенку, может, какую легкую? Да образования нету, долго учиться, ежели на инженера там или агронома. Плохо мне стало в колхозе, скучно, душа у меня ненасытимая, – и потянуло меня в дальние дали. Стал я к Богу припадать, раньше-то тоже не верил... Старичок у нас в колхозе был – молоковозом работал, – боже-ественный старичок. Он меня всему наставил, стал по книгам читать, – так на так все выходит. «Иди, сын мой, – это он, значит, мне говорит. – Иди, говорит, во святые места, молись, спасай нас всех от гибели и сам спасайся». Я и пошел, да вот уж пятый год хожу. Мно-ого народу ходит, люди всё чистые, святые. Легко мне теперь, стою к Богу близко и с дороги своей уж теперь не сойду. Нет, не сойду!

– А теперь далеко ли идете? – сонным голосом спросила Настасья.

– Да вот завтра хочу до Борисова дойти, к животворящему кресту приложиться. Много я наслышан про него. А где я только не был! В Киеве при монастырях жил, подаванием кормился, во святой Киево-Печерской лавре был, место дивное. Молящихся много... И в Троице-Сергиевой побывал, в Эстонию даже заходил, на Ветлуге был, – ну, там народ хмурый, беспоповцы, сектанты, не люблю я их, не подают, паразиты...

«А ведь она в сенях легла!» – внезапно подумал он о Лю-

бе, и сердце его сладко заныло.

– Эх, мамаша! – весело и горячо заговорил он, возбуждаясь от того, что так все хорошо складывается: и хозяйка попалась верующая, и молодая вдова одна в сенях спит. – Ах, мамаша! Много я по свету исходил, а если сказать по душе, как перед Господом истинным – нету стороны лучше русской! Идешь ты по ней, жаворонок звенит, вот трепещется, вот трепещется, тут тебе донник цветет, ромашка на тебя смотрит, тут люди хорошие попадут, расспросят, ночевать позовут, накормят... А то лесами идешь, – духовитые леса у нас, шмели жундят, осинки чего-то лопочут, – вот хорошо-то, вот сладко! Нету над тобой начальства, нет законов никаких, встал – пошел. Что мне люди? Кто такие? Да и память у меня плохая, забываю всех, никого не помню... Нет, совсем не помню. Я вот переспал у кого, встану, Богу помолюсь, хозяину поклонюсь – и дальше. А есть которые и не пускают: жулик, говорят. Обидно мне это, бог с ними, обидно! Только много еще добрых людей, верующих, адреса дают, зовут: жи-ви-и! Да не хочу я на одном месте жить, тянет меня все, сосет чего-то... Особо по весне. Нет, не могу!

Странник задумался, замолчал, упершись руками в лавку. Хозяйка стала засыпать, кланялась, вздрагивала, моргала... Четко шли часы в горнице, тихо было.

– Спать чегой-то клонит, – сказала виновато Настасья и зевнула. – Завтра вставать чуть свет...

Она с усилием поднялась и, разбирая широкую деревян-

ную кровать, проговорила немного смущенно, будто сама над собой посмеиваясь:

– Дояркой я теперь на скотном, первая я по району-то, обязательство еще взяла... Ложитесь-ка с Богом, тоже устали небось.

– Да нет, уж я на полу как-нибудь... Постелешь чего-нибудь, и ладно... – притворно забормотал странник, жадно глядя на кровать с периной.

– Ложитесь-ложитесь, и не думайте! Я не сплю на ней, не люблю, широко очень... Люба когда поспит, а я все на печке. Ложитесь!

– Ну ладно, спаси Христос, – с видимой неохотой и тайной радостью сказал Иоанн и стал раздеваться.

Настасья походила еще немного, что-то переставляла, убирала, мелькала на стенах большой сонной тенью. На потолке, потревоженные, начали гудеть мухи. Потом Настасья подошла к столу, щурясь, задула лампу, и в избе стало темно.

«В сенях ли легла?» – думал о Любе странник, томясь от сильного желания. Ему не лежалось, он ворочался, смотрел на лунные пятна света, наконец встал, белея в темноте нижней длинной рубахой.

– На двор забыл сходить... – пробормотал он, нашаривая ручку двери. Вышел в черные сени, постоял секунду, привыкая к темноте, прислушался, услышал сонное дыхание Любы. «Здесь!» – подумал радостно и, пройдя сенями, открыл застав, вышел на крыльцо.

В деревне было темно, тихо, кое-где в избах не спали, горел огонь. Далеко где-то разговаривали, смеялись; луна светила в полную силу, но стояла еще низко, резкая тень избы тянулась далеко за дорогу. Мерцали некрупные звезды, холодило, в поле стрекотал трактор, но в какой стороне – не понять было. Голоса и смех все приближались, стали видны слабые огоньки папирос. Странник продрог, опять тихо прошел сенями, вошел в избу, дверь за собой не прикрыл. «Подожду еще, пусть хозяйка крепче заснет, тогда уж...» – подумал он, ложась и закрывая глаза.

За окнами слышались тихие голоса, негромко вякнула гармошка. Потом несмело постучали в окно. Вытянув шею, Иоанн увидел за окном две девичьи фигуры. Опять забарабанили в стекло – виновато и тихо. В избе крепко спали –

никто не шевелился.

– Ну что? – спросил за окном мужской голос. – Спит? А ну, давай погромче...

Парень сильно загрохал в раму кулаком, потом прыснул, отскочил от окна. «Черти их принесли!» – с досадой подумал Иоанн.

В сенях затопали босые ноги, в избу нетвердо вошла Люба в одной сорочке, растворила окно.

– Чего вам? – сердито спросила она.

– Любушка, – просительно заговорил девичий голос. – А мы думали, ты не спишь...

За углом засмеялись.

– Верно, думали... Дай ключ, в клубе потанцевать...

– Дай, Любушка, – подхватила весело и жалостливо другая. – А то совсем засохли, лето, а ни кино, ничего не видим...

– Не дам! – строго сказала Люба. – Спать ступайте!

Странник не шевелился. Затаив дыхание, смотрел на ее фигуру, освещенную луной, на крепкие руки и плечи, на грудь.

– Ни кино не видим, ни самодеятельности никакой... – продолжал уже обиженно второй голос.

– Любушка, мы на часок, – просительно ввернула первая. – Время-то – рано!

– Какой рано! Светать скоро будет!

– Где светать, где светать! – жарко отозвались за окном. –

Коля, Коля, скажи, какой час?

— Без двадцати одиннадцать, — сиповато сказал кто-то за углом и засмеялся.

— Не дам ключа! — твердо сказала Люба. — Председатель не велел. Сегодня на правлении вопрос ставили. До утра танцуете, а потом на работу не подымеешь. Спать надо!

Люба закрыла окно, мелькая белыми икрами, ушла опять в сени. Девушки пошептались о чем-то, отошли.

— Не дала? — врасстяжку спросил кто-то за углом. — Тут-то она ему и сказала: за мной, мальчик, не гонись...

Заиграла гармошка, и надтреснутый голос фальцетом вывел томительный куплет частушки. Потом голоса рассыпались, отдалились, стало очень тихо. Во дворе три раза прокричал петух. Странник сел на кровати, свернул папиросу, осторожно закурил в кулак, роняя искры на пол. Докурив и пригасив окурок в цветочном горшке, он подождал немного, встал, подошел неслышно к печке, потолкал Настасью, послушал: та тихонько посвистывала носом.

Тогда Иоанн решительно вышел в сени, крепко притворил за собой дверь и, чувствуя холод и дрожь в животе и ногах, вытянул руки, медленно двинулся к тому месту, где спала Люба.

Нащупав постель, он прилег с краю, сдернул тонкое одеяло, скользнул руками под сорочку и всосался в губы. Люба проснулась, вздрогнула, вывернула лицо из-под бороды, ударила странника в грудь и вскрикнула. Иоанн навалился

на нее всем телом, зажал рот рукой и зашептал:

– Что ты, что ты, я это... Не бойся, я это...

– Пусти, бродяга! Богомолец чертов, пусти! – невнятно сказала Люба и, вырвавшись, села, зажав рубашку в коленях.

– погоди... Женюсь на тебе, не шуми ты, послушай, что говорю... – зашептал он. – Женюсь, хоть завтра... Бороду сбрую, в колхозе буду работать... В баню схожу, – добавил он, вспомнив, что давно не мылся в бане. – Иди ко мне, приласкаю...

– Мама! – крикнула Люба, соскакивая с постели и прижимаясь к стене. – Отойдешь ты от меня, черт поганый? – старалась она за грубостью скрыть свой ужас перед ним.

– Я тебя любить буду! – тоскливо шептал странник, чувствуя уже, что ничего не выйдет. – Я здоровый, молодой, – сила во мне мужская кипит... Бороду хоть сейчас сбрую! Ты подумай, ребят-то нынче в колхозах совсем нет, пропадешь или за вдовца выйдешь, на детей... Иди сюда, ну! Хочешь, в землю поклонюсь?

– Мама! – опять крикнула Люба. – Да что же это!

В избе послышался шорох.

– Тише ты! – шикнул на нее странник. – Ухожу, ухожу, будь ты проклята, ведьма, сатана...

Он поднялся, нашарил дверь, покачиваясь вошел в светлую от луны избу.

– Ктой-то? – окликнула его с печи хозяйка сонным голосом. – А? Ктой-то?

Странник молча лег на кровать, трясся весь, скрипел зубами, на глазах у него выступили слезы от обиды и разочарования.

Хозяйка пошевелилась на печи и затихла – тихонько захрапела.

– Сука! – шептал странник. – Сука! Сволочь, распалила, а?

В сенях что-то стукнуло, покатилося, загремело; послышались шаги на потолке; потом опять заскрипело что-то и стихло.

– На избу полезла, стерва, – злобно шептал странник. – И лестницу затащила... Ну и черт с тобой, будь ты, анафема, проклята!

Он опять закурил, на этот раз не скрываясь, матерясь шепотом. Время тянулось, лунный свет переместился, начало светать, а странник все никак не мог заснуть, ворочался на мягкой перине.

Разбудил его утром петух – кричал залиvisto под окном. Умываться он не стал, позевал, поскреб голову, долго сидел неподвижно, пытаясь вспомнить, что ему снилось, но так и не вспомнил. Солнце напекло, в избе было душно, пахло кислым, летали мухи – все стало обычным, надоевшим, вчерашняя таинственность исчезла. Иоанн оделся, сел у окна, закурил и задумался.

Громко стукнув дверью, в избу вошла Настасья, хмуро и странно глянула на Иоанна, подошла к печке, взяла ухват, загремела заслонкой, наклоняясь, проворно и зло двигая острыми локтями. «Рассказала про меня девка-то... – догадался Иоанн. – Эх!.. Теперь не покормит. Видать, уходить надо».

Он встал, медленно, с нарочито-печальным, покаянным лицом надел пальто, взял котомку. Опершись на ухват, Настасья молча смотрела на него, в нитку сжав губы. У порога странник, вдруг повеселев, сдерживая улыбку, низко, как и в первый раз, поклонился.

– Ну, спаси Христос, – сурово сказал он. – Спаси тебя Бог и помилуй... А я помолюсь за всех за вас!

– У, кобель красноглазый! – быстро сказала Настасья, заливаясь пятнистым румянцем и отворачиваясь.

Странник надел шапку и вышел на крыльцо.

Как всегда, когда он уходил откуда-нибудь, ему станови-

лось все веселее, веселее – дорога звала его, и забывалось и меркло вчерашнее. «День да ночь – сутки прочь!» – радостно думал он, спускаясь огородами к реке. У реки он скоро отыскал и перешел брод, поднялся на большой пологий холм и вошел в лес, из которого вчера вечером сползали к реке молочные пряди тумана. В лесу, поплутав немного, странник вышел на дорогу и пошел по ней на запад.

Куда выведет его эта дорога, он не знал. Но было у него снова легко и радостно на душе, опять он шел спорой походкой человека, привыкшего много ходить, шуршал палкой по траве и кустам, постукивал ею по деревьям, тихонько напевал что-то веселое. И только воспоминание о ночной неудаче и слабая тоска по чему-то незнакомому, которую он почувствовал вчера, стоя на коленях в темной горнице, иногда слабо покалывали его сердце.

Так шел он весь день, а вечером попросился ночевать в далекой деревне.

1956

Дом под кручей

1

Блохин приехал в районный город вечером. Вылез из машины у здания райкома, оглянулся: шел редкий снег, фонари не горели, темная улица была перечерчена длинными желтоватыми полосами света из окон.

Спросив у прохожего о гостинице, Блохин по узкому переулку спустился вниз, долго ходил среди приземистых строений, похожих на баржи, наконец нашел гостиницу и постучал. Кто-то спустился по лестнице, но дверь не открыл. На вопрос Блохина о койке, подумав, ответил:

– Ничего нету.

– А где же переночевать? – сердито спросил Блохин, глядя на слабо блестящую, старинную медную ручку. – Да вы откройте!

Ответа не последовало. Тот, за дверью, полез вверх, лестница под ним скрипела, и Блохин подумал со злобой, что это, должно быть, очень грузный человек.

Отойдя от гостиницы, Блохин смахнул снег с тумбы, присел, размышляя о своем положении. В этот городок приехал он из Москвы, ездил же он вообще редко и поэтому в дороге почти не спал, а все волновался, радуясь тому, что поехал

так далеко, и думая о том, как устроится и как будет жить на месте. От областного города нужно было ехать еще семьдесят верст на машине. Блохин полдня бродил возле вокзала, отыскивая попутную машину, наконец нашел и приехал на место. Теперь он устал, отчаялся и не знал, что делать и куда пойти. У него начали уже зябнуть ноги, когда он решился окликнуть проходившую мимо девушку. Та молча и задумчиво выслушала Блохина и повела его темными переулками с засыпанными снегом домиками по сторонам опять вверх.

Скоро они очутились в теплом и светлом Доме культуры. Было шумно. В коридоре возились ребята, поглядывали в двери. Наверху громко и фальшиво играл духовой оркестр. Девушка скрылась в одной из комнат, и спустя минуту в коридор вышел купец с красивой бородкой и большой цепью через грудь. Ребята сразу затихли, с восторгом уставились на купца.

– Вам комнату? – спросил купец молодым голосом и, морщась, стал отдирать бородку. – Вы чуть подождите, сейчас я вас провожу.

Отодрав бородку, он погрозил ребятам кулаком, ушел, а через пять минут вышел уже в пальто, оказавшись молодым румяным парнем.

– Пойдемте! – весело сказал парень и с облегчением вздохнул, а Блохин вдруг решил, что городок этот странный и веселый и что жить здесь, должно быть, просто.

Парень вел его мимо деревянных заборов и каменных

оград, мимо чайной, возле которой на рассыпанном сене стояли заиндевевшие лошади, мимо белых домов с черными окнами, скрипел валенками по снегу и рассказывал:

– Дом внизу стоит, у самой реки, и комнатка ничего, жить можно и все такое, хозяйка только нехороша...

– А что? – спросил Блохин.

– Да так... Вы ведь, наверно, ненадолго? Это у меня там с ней дело одно вышло... А вам что! Деньги платите да не трогайте ее, и все...

– А комната отдельная?

– Отдельная. Вы что, к нам в командировку?

– На практику.

– На практику? Случайно не в Дом культуры?

– Нет, в библиотеку...

– А-а... Жалко. А то бы можно такие дела развернуть...

Чемодан-то тяжелый? Давайте я понесу.

– Ничего, спасибо. В этом доме-то кроме хозяйки есть еще кто-нибудь?

– Дочка.

– Да? Интересно... И молодая?

– Дочка-то? – Парень помолчал. – Молодая... Совсем молодая.

«Вон оно что! – подумал Блохин. – Молодая девушка. Наверное, пробовал ухаживать, да неудачно?» И ему стало очень любопытно и весело от мысли, что он идет в дом, где живет молодая девушка.

Спустились в овраг, прошли мимо редких черных деревьев, свернули налево и пошли под обрывом. Справа попадались баньки, дома с закрытыми ставнями, сквозь которые кое-где пробивался свет. За домами скорее угадывалось, чем виднелось близкое, большое и смутное пространство занесенной снегом реки.

– Это у нас улица Оползино, – объяснял парень. – Берега здесь оползают, а люди живут... Ставнями запираются. Как чуть стемнеет, так и запираются. Народ! У каждого свой колодец – кулугуры, черти! У стариков в сараях гробы да кресты стоят – это они после смерти опоганиться боятся, в своих хотят в могилу лечь и под своим крестом...

– Интересно! – изумился Блохин.

– Кому интересно, а кому... – буркнул парень. Он подвел Блохина к большому дому с высоким крыльцом. Одна половина дома была темной, на другой мягко сияли окна, освещающая низкий забор со снежными шапками на столбах.

– Ну вот, глядите. А я пошел. Ежели что не так, заходите в Дом культуры, поможем. И вообще заходите, спросите Колю Балаева, меня там все знают.

Он негромко засвистел и пропал в темноте, только свист долго был слышен. Приглядевшись, Блохин увидел метлу на крыльце, обил снег и постучал.

Дверь ему открыла девушка в халате с подвернутыми полами и засученными рукавами. Она тяжело дышала, руки у нее были запачканы, прядь волос прилипла к щеке. Увидев

Блохина, девушка задержала дыхание, торопливо одернула халат, поправила плечом волосы, пропустила его на кухню и почему-то очень долго запирала дверь.

– Поговорите с мамой, – задрожавшим голосом перебила она Блохина, когда тот стал объясняться, покраснела и быстро ушла в комнату.

Вышла мать ее, худая женщина с тонкими поджатыми губами и убитым выражением лица. Было похоже, будто минуту назад с ней случилось несчастье.

– Комнату? Комнату сдаем... Посмотрите. – Она открыла застекленную дверь и зажгла свет. – Комната у нас хорошая, замечательная... Чистая комната. Вы один или семейный?

– Один.

– Прошлый год профессор жил. Два инженера жили. Комната хорошая, теплая...

Комната была холодная, пустая, с крепким застоявшимся запахом. Блохин поморщился.

– Вы как же... надолго приехали? – настороженно спросила хозяйка.

– На месяц, – сухо ответил Блохин, чувствуя растущую неприязнь к хозяйке и думая о девушке, открывшей ему дверь.

– А комната у меня замечательная, тихая. Как на даче, будете жить.

– Сколько же вы берете?

– Да вот профессор жил, так двести рублей платил. Да и

то дома почти не бывал.

– Двести? – переспросил Блохин и нахмурился: это было дорого.

– Да еще с его дровами, – заторопилась хозяйка. – Ведь вы топить не будете? Топить, значит, мне нужно. А дрова копеечку стоят. Времена нынче плохие.

Блохину делалось все более неприятно. Но после дороги так хотелось согреться, обрести хоть какое-нибудь место, да и выбирать было не из чего, и Блохин согласился. «Что мне, в конце концов, до хозяйки! – подумалось ему. – Она сама по себе, я сам по себе... Да и не век мне здесь жить!»

– Ну хорошо! – сказал он. За стеной тотчас что-то свалилось.

– Вы, может, погуляете, пока я комнату приготавливаю? – спросила хозяйка, прислушиваясь к тому, что делалось за стеной.

Блохин с легким сердцем вышел на улицу, закурил. Идти ему никуда не хотелось, он спустился вниз, встал на берегу реки и задумался.

Было Блохину двадцать шесть лет. Он кончал институт и все чаще подумывал о женитьбе, но без любви женитьбы себе не представлял, а полюбить все как-то не приходилось, и это в последнее время всерьез беспокоило и даже угнетало его. Кому, как и многим вообще, почему-то казалось, что в своем городе, в своем институте, одним словом, дома, ничего необыкновенного произойти не может. Дома было все

привычным и обыденным. А необыкновенное было где-то далеко, поэтому он любил дальние поездки и каждый раз, собираясь в дорогу, был почти уверен, что с ним произойдет что-то радостное, кто-нибудь полюбит его... Он ездил, и с ним не случалось ничего, но вера его в счастливый случай не пропадала.

Сейчас, глядя на снежный простор широкой реки, похожей на поле, он задумался о девушке, которая так смутилась, открыв ему дверь. И чем больше думал он о ней, тем больше волновался. Может быть, это вот и есть тот долгожданный случай, то необыкновенное счастье, о котором он мечтал? Кто она? Как жила и как будет жить? Он старался вспомнить, какие у нее губы и глаза, какое лицо, но вспомнить ничего не мог, только чувствовал, что она хороша и что ее смущение может многое означать...

– Хорошо! – громко сказал Блохин и оглянулся. Дом сиял мягким светом окон... После Москвы здесь казалось необыкновенно тихо и таинственно. У Блохина стало весело и горячо на душе. Он докурил папиросу, щелчком подбросил ее вверх. Папироса упала в снег, но не погасла, и то место, куда она упала, долго светилось в темноте нежно-розовым пятном.

«Пожалуй, пора!» – подумал Блохин и пошел назад к дому, улыбаясь в темноте и с удовольствием прислушиваясь к скрипу снега под ногами.

Пол в комнате был уже вымыт, у стены стояла узкая железная кровать с серой сальной подушкой. Вошла хозяйка. Она тревожно поглядывала на Блохина, часто поворачивала бледное лицо к стене, и тогда казалось, что она видит все, что делается за стеной.

– Вам и белье давать? – спросила она.

– Конечно, – сердито ответил Блохин, поднимая брови и стараясь, чтобы хозяйка заметила его недовольное удивление; неприязнь его к ней росла с каждой минутой.

Белье было постелено, на столе появилась скатерть. Блохин успокоился, раскрыл чемодан, разложил вещи, вынул книгу и стал читать. Но ему внезапно стало скучно, не читалось, хотелось крепкого горячего чаю из тонкого стакана, хотелось с кем-нибудь поговорить.

Он отложил книгу, облокотился, стал смотреть в темное мокрое окно, слушая, как в печке потрескивают дрова, думая о том, что только вчера он ходил в Москве по Арбату, а теперь сидит в чужом доме, у незнакомых людей, которые равнодушны к нему, к его прошлому, его занятиям и которые, быть может, никогда не вспомнят о нем, когда он отсюда уедет.

От этих мыслей Блохину стало тяжело, грустно. Он подумал было лечь спать, но спать не хотелось. Тогда он встал,

походил по комнате, потрогал печку, прислушался и вышел на кухню.

Девушка переоделась в темное платье, сидела за столом и вышивала. Увидев Блохина, она вспыхнула, шевельнулась, будто хотела встать и уйти, но не ушла, только еще ниже опустила голову. Блохин огляделся, присел к столу и спросил, понизив голос:

– А где ваша мама?

– Она поросенка кормит.

Голос ее был тих и нежен, ответила она помедлив, словно не сразу поняла вопрос. Золотистые волосы ее слегка вились возле висков, завитки их спускались на лоб, и всю эту слабо сиявшую глянцевитую массу волос прорезал чистый и ровный пробор.

«Сколько ей лет? – размышлял Блохин. – Восемнадцать? Девятнадцать?» Он смотрел на завитки волос, на пробор, на тонкую шею, жалел, что ему не двадцать лет, что он некрасив, и ощущал в груди томительную печаль. Ему хотелось сидеть и без конца смотреть на нее. «Еще влюбишься здесь!» – подумал он вдруг невесело.

– Вы что же, работаете, учитесь? – снова спросил он.

Девушка подняла голову. Блохин увидел мелкие бледные веснушки на носу и лбу, очень маленький алый рот и чистые прозрачные глаза, и в глазах этих был свой, далекий ему мир, своя жизнь, незнакомая ему и недоступная сейчас для него.

– Работаю, – нежно и доверчиво сказала она. – Учетчицей.

На том берегу... Поступала в институт, не приняли. Готовилась, как сумасшедшая, и вот все зря...

– Скучаете теперь?

– Днем на работе хорошо. Вечером очень скучно. Все одна, одна... Я на улицу редко хожу, в кино только иногда. Мама не любит одна оставаться. Вышиваю вот... А хорошо, что вы у нас комнату сняли, я не люблю пустых комнат! Я боялась, вам не понравится здесь. Глухо... Что у нас может понравиться? – Она неприязненно оглядела кухню потемневшими глазами.

«Вы, вы мне понравились!» – захотелось сказать Блохину. Но он ничего не сказал.

– Вы были в Москве? – спросил он немного погоды.

Девушка, не поднимая глаз, покачала головой. Блохин говорил о Москве. Он говорил о театрах, институтах, о стадионах, и в тоне его невольно все сильнее звучала хвастливая нотка. А девушка слушала, как слушают сказку: на щеках ее выступил слабый румянец, глаза блестели. Она отложила вышивание, облокотилась на стол, не моргая смотрела Блохину в лицо. Его смущал и беспокоил этот пристальный взгляд, но недавняя удрученность его и скука бесследно исчезли, он был теперь почти счастлив.

Темный, занесенный снегом город со старинными пузатыми купеческими домами, чайная, лошади, сани, запах сена, навоза и снега, Дом культуры с нестройными звуками оркестра и людьми в париках, дорожные разговоры и мечты,

пустынная широкая река, наконец, этот дом с недоброй хозяйкой и нежной, доверчивой дочерью – все это теперь казалось ему значительным, интересным и странным.

– Какой вы счастливый! – с откровенной завистью сказала девушка. – А я родилась в этой глуши, ходила в школу, а теперь мне кажется, что я никогда ничего не знала и не жила совсем.

Она вдруг улыбнулась насмешливо и жалобно.

– Вы не знаете, как я мучилась летом... Когда автобиографию писала. Какая у меня автобиография? Три строчки... Родилась, училась, огород копала, стирала, летом по ягоды ходила – и все? Ничего в моей жизни нет. Смотрю кино или радио слушаю: там сделали что-то, кто-то подвиг совершил, кто-то на целину уехал, спортом занимаются, учатся, вечером огни горят, интересная жизнь, а у меня ничего. Вам кто сказал о нашем доме?

– Да тут один паренек привел меня. Из Дома культуры...

– А, знаю! Коля Балаев, да? Он вам ничего не говорил?

– Нет, ничего, – сказал Блохин и почувствовал вдруг, как что-то кольнуло его в сердце. – Ничего не говорил. А что?

– Он жил у нас. Это такой человек! Знаете, я стала заниматься в театральном кружке, ходили вместе, говорили, мечтали... А мама. – Девушка вдруг покраснела. – Мама выгнала его. Прямо взяла и выгнала. И на меня... Теперь мы уж не встречаемся.

– Вы любили его, да? – с усилием спросил Блохин.

– Нет... – ответила девушка, подумав. – Нет. Я не знаю еще, как чувствуешь любовь, но это... у нас не было этого.

– Вам наш город понравился? – спросила она спустя минуту.

– Странный какой-то. Дома купеческие, лошади, снег, темно... У нас в Москве нет этого.

– В Москве! – девушка вздохнула; глаза ее снова потемнели. – Наш город старый, восемьсот лет ему, и жизнь какая-то старая. Только и гордимся тем, что у нас какой-то великий князь умер. Велика гордость! И кино есть, и школы, и техникум, летом все на велосипедах катаются, а жизнь все равно глухая. Тут что ни дом, то купцы. Только капиталы у них отобрали, а так... все бородатые, вечерами сидят в чайной, чай пьют. На нашей улице все староверы живут, и мама у меня староверка, людей не любит... Здесь близко в одном доме молельня есть, собираются, молятся, бормочут. И я бывала, только я не верю ничему. Назло не верю! В комсомол мама не позволила вступить. Сижу вот, вышиваю... А зачем эго нужно, кому? Не знаю. Зачем я живу?

У нее показались на глазах слезы, она быстро отвернулась к стене. За окном послышался вдруг мерный и частый звук, который постепенно приближался. Было похоже на громкое тиканье будильника.

– Что это? – спросил Блохин.

– Это? – Девушка прерывисто вздохнула и посмотрела в темное окно. – Сторож... В колотушку стучит.

– В колотушку? – переспросил Блохин, с изумлением прислушиваясь: до сих пор он никогда не слышал колотушки. – Зачем же в колотушку?

– Не знаю, – неохотно отозвалась девушка. – Стучит... Стучит, а мне иногда кажется, будто это в голове у меня стучит.

«Так-ток-так-ток-так-ток», – раздавался унылый, теперь удаляющийся звук, а Блохин с удивлением, даже с некоторым страхом смотрел на сидящую перед ним девушку и думал, как тоскливо действительно жить в таком доме.

– Но как же это... – громко начал он. – Так же нельзя! Это же черт знает что за жизнь! Почему вы... Я понимаю, конечно, ваша мама... Но мама ваша – пожилой человек! Ее-то жизнь прошла, и у нее потом была совершенно другая жизнь, она родилась до революции, она привыкла так жить... Но вы! Поговорите же с ней, объясните ей! Ну, хотите, я с ней поговорю?

– Не надо, – умоляюще сказала девушка. – Прошу вас, не надо! Это ни к чему не приведет. Вы думаете, я не говорила ей? Сколько раз! Но я одна здесь, поддержать меня некому, и вот привыкла. Да и не я одна такая – сколько у нас таких, если бы вы знали! Привыкаем... Ведь мы – невесты, нас нужно беречь, чтобы как можно выгодней потом выдать замуж. А уж как тяжело другой раз, если бы вы знали! Вам мама говорила, что у нас профессора жили – я слышала. Врет она! Никто у нас не жил. Поживут неделю и уйдут, поживут и уй-

дут. А я сколько уж лет живу. Иногда разозлюсь, так бы вот и разбила этот проклятый дом с овцами да с поросятами!

– Так уходите отсюда, уходите! – взволнованно сказал Блохин.

– Уйти... Вы думаете, я не хотела? Да что толку... Куда пойдешь? Кому я нужна? Ни знаний, ни специальности, ни родных, никого в целом свете нет...

В коридоре послышались шаги, девушка сразу замолчала, прикусила губу. Пришла хозяйка. Она поставила ведро у двери, хмуро глянула на Блохина, на дочь, разделась и прошла к себе.

– Чай будете пить? – спросила она через минуту из комнаты.

– Нет, спасибо... – с усилием ответил Блохин. У него как-то странно сжималось сердце, от разговора в груди остался какой-то горький осадок, было почему-то неприятно и стыдно. Девушка не смотрела больше на него, торопливо продергивала нитки в вышивке, маленькие ее руки, загрубевшие от работы на холоде, дрожали. Блохин не мог видеть больше этих дрожащих рук, встал и пошел в свою комнату.

– Пойдите! – испуганно сказала девушка.

Блохин обернулся. Прижимая к груди руки, девушка выбралась из-за стола, подошла к нему. Скулы и уши ее жарко горели, по глазам было видно, что ей тоже стыдно чего-то.

– Почему вы уходите? – тихо спросила она, глядя на Блохина так, что он начал пугаться. – Я вам рассказала про себя,

потому что...

– Таня! – крикнула вдруг из своей комнаты хозяйка.

– Потому что я давно ни с кем...

– Таня! Иди сюда! Ты что там шепчешься, бесстыдница!

– Сейчас! – злобно и страдальчески откликнулась девушка и топнула ногой.

– Что? Ты слышишь, что я сказала? – слышались решительные шаги хозяйки. Девушка с мучительным стыдом посмотрела на Блохина.

– Мы с вами поговорим еще, хорошо? – шепнула она быстро, обдав его теплым детским дыханием, и ушла.

Блохин вошел в свою комнату, бесшумно прикрыл за собой дверь, прислушался, затаив дыхание. «Вот черт! – подумал он, переводя дух. – Ну и жизнь! Что же это такое! Не верится даже, будто во сне!» Он постарался развлечься, думая о том, что завтра нужно будет приниматься за работу, и вообще о делах, но голова его горела, перед ним все стояло лицо девушки. «Ее Таней звать, – с состраданием думал он. – А мы так и не познакомились...»

Немного погодя, осторожно постучавшись, вошла хозяйка. Она потрогала печку, поправила скатерть на столе, потом присела, стала жаловаться на жизнь, на вдовство, на то, что в магазинах почти не бывает сахара. Слова были мелкие, нудные, голос неприятный.

Блохин страдал, хмурился и молчал. Потом она стала спрашивать Блохина о семье, о занятиях...

– Так вы в Москве, значит, живете?

– В Москве.

– Квартира большая у вас?

– Маленькая. Одна комната.

– Так... Одна, значит. Тоже не сладко живете. Женатые?

– Нет еще.

– Зарабатывать-то много собираетесь?

– Не знаю.

– Как же это? Как же не знаете?

– Ну... рублей восемьсот-девятьсот.

– Восемьсот. Так... – В глазах хозяйки мелькнуло что-то,

на лице показалось едва уловимое презрение, она моргнула, прекратила расспросы и неслышно ушла.

Блохин быстро разделся, потушил свет и лег. Ему не спалось, он ворочался на жесткой холодной кровати, вставал, садился у темного окна, курил.

За стеной слышался шепот, всхлипывания... Поскрипывали половицы, что-то стучалось об пол, кто-то выходил на кухню, звякал кружкой, пил воду. А на улице через равные промежутки возникал унылый звук колотушки, приближался и опять слабел.

Когда Блохин заснул, ему приснилось, что вокруг дома ходит кто-то страшный, постукивает палочкой по стенам и пытается залезть внутрь. Но на дверях и окнах – всюду огромные запоры, и проникнуть в дом невозможно.

На следующий день Блохин проснулся с головной болью. Комната за ночь выстыла, одеяло было тонкое, не грело, и у Блохина замерзли ноги. Матрац гоже был тонкий, сквозь него чувствовались доски, бока у Блохина болели. На окнах намерзла наледь. В доме было тихо.

Одевшись, Блохин вышел на кухню. Тошнотворно пахло вареной картофельной шелухой. Воды в умывальнике не было, самовар стоял холодный. Блохин пошел в коридор, потрогал одну дверь: заперто. Он подергал другую – тоже было заперто. Третья дверь открылась, Блохин заглянул в сарай и увидел хозяйку. Она почесывала за ушами поросенка, на лице ее тлеяла слабая улыбка. Поросенок по самые уши залез в ведро, двигал его, чавкал, вертел хвостиком.

Увидев Блохина, хозяйка нахмурилась, прошла за ним на кухню. Она была в грубых грязных сапогах, в телогрейке и темном старушечьем платке. От одежды и рук ее пахло навозом.

– А я воду-то не нанималась вам носить, – сказала она. – И потом, подумала я тут, рассчитала... Надо с вас двести пятьдесят брать за комнату.

– Это почему же? – удивился Блохин.

– То есть как же почему? Белье постельное нужно стирать, воду носить вам, потом отапливать... Как же почему? Потом

свет вы жгете, лампа большая, сто свечей, сколько мне это платить? У меня не кузница, денег я не кую. Потом я бы попросила вас на улицу выходить курить, вы курите много, голова у меня разбалчивается.

– Чаю вы мне разогреете? – спросил Блохин и покраснел.

– С чего же это я угли жечь буду? Они-то небось деньги стоят. Вставать надо раньше, а то спите развалясь, а вам десять раз самовар грей. А я вдова, мне взять неоткуда, мне никто не поможет. Я уж жалею, что и комнату вам сдала, уж больно вы жилец беспокойный, бог с вами...

Блохин молча повернулся, пошел к себе в комнату, стал укладывать вещи в чемодан. Тихо вошла хозяйка, долго смотрела на него, потом спросила:

– Что же, съезжаете с квартиры, значит?

Блохин молчал, только крепче сжимал зубы.

– Да ведь я вас и не держу. Вы мне не сгрозите, я на свою площадь жильцов всегда найду, деньги только заплатите за ночлег, скатертью дорожка. У меня профессор жил, благодарен остался, да еще сверх платы прибавил... Инженера тоже жили, покультурней иных-прочих.

– Ну вот что. – Блохин закрыл чемодан, надел пальто. – Вот что: разговаривать с вами я не хочу. Ночевал я у вас одну ночь. Сколько с меня? Рублей семь, наверно? Или восемь?

– Это почему же семь? – побледнела хозяйка. – Почему же семь? На квартиру стали-то вы вчера? Значит, за два дня. Да еще из-за вас мне простыни стирать надо... Семь рублей?

Да наволочку... Двадцать пять рублей с вас!

Блохин вынул десять рублей.

— Берите, — сказал он, усмехаясь.

— Это что же? — Хозяйка поджала рот. — Да подавитесь вы моей добротой, не надо мне ваших денег, оставьте себе, разживетесь от меня, от вдовы...

— Как хотите, — сказал Блохин, засовывая деньги в бумажник и искоса поглядывая на хозяйку.

Мгновенно вытянулась сухая темная рука с грязными ногтями, схватила деньги, сжала их в кулаке.

— А вы и рады? Эх, а еще образованный! Что это вы вчера дочери моей говорили? Дурочку нашли? С матерью разлучить хотите?

— Дочь? — закричал вдруг Блохин. — Не дочь она вам!

— Культурного из себя представляет, институт кончает! — не слушая его, кричала хозяйка, все больше бледнея. — Не стыдно вам, глаза ваши не лопнут на свет белый глядеть! В чужом дому свои порядки заводите? Свой заимейте раньше! Голь беспортошная, прости, Царица Небесная! Опоганил ты мой дом, нехристь проклятый, иди отседа, иди, иди-и!..

Блохин быстро вышел в коридор и на крыльцо. Снег на крыльце гулко закрипел под ногами, запахло морозом и свежестью, в глаза ударил необыкновенный свет солнечного февральского дня, а на душе стало гадко и тяжело, будто поймали его на чем-то нехорошем.

Дома на улице, крошечные, утонувшие в снегу баньки ка-

зались от солнца веселыми, блестя стеклами, бросали на дорогу резкие голубые тени. На блестящей, накатанной санными дорогами видны были янтарные навозные пятна и ходили вороны, а выше, на крутом обрыве со снежными наплывами, каким-то чудом держались редкие ели с сизыми стволами...

Но Блохин не видел ничего этого, вся красота яркого зимнего дня была не для него. Задышавшись, он карабкался вверх по крутой обледенелой тропе, падал, оставляя после себя вмятины на снегу от чехлов.

Сверху Блохин посмотрел вниз, на дом, в котором провел ночь, на широкую ослепительно-белую реку. «Где же теперь увидеть Таню? Как ее встретить? Расскажу Балаеву, – решил он наконец, – тот поможет. Надо же что-то делать!» Сердце его бурно билось от стыда, от ярости, от любви к нежной, робкой девушке. Внезапно он вспомнил о том, зачем приехал в этот город, о практике, – злость и горечь охватили его. «Что практика! – с раздражением подумал он. – Сидеть в библиотеке, составлять каталоги, рекомендательные списки, вести учет читателей... А тут рядом человек пропадает, рядом целая улица староверов! И они тоже, наверное, читатели! Практика! Вот где практика нужна, в этих домах!»

Он еще раз с ненавистью посмотрел вниз, отвернулся и пошел к гостинице. Больше он не оборачивался, но если бы и оглянулся, то не увидел бы ничего: дом скрылся под кручей.

Поморка

1

В сентябре на Белом море темнеет рано, сумерки короткие, а ночи аспидно-черны и холодны. Вырвется иногда перед закатом солнце из облаков, бросит последний угасающий луч на море, на холмистый берег, желто отразится в окошках высоких изб и тут же побагровеет, сплющится, уйдет в воду.

Тускло светится темно-красная полоска зари, слабо и зыбко сияет высокое холодное небо, а земля, избы в деревне, косяги с поскотинами, словно щетиной поросшие по краям мелким низким лесом, – все погружается в темноту, только долго, еще светятся в ответ заре свежоошкуренные бревна возле правления, и маслянисто блестит, хрустит под ногами щепы.

Вспыхнут на берегу моря, возле самой воды, несколько маленьких костров: сидят на корточках мальчишки, пекут себе картошку. Потом загорятся огни в окнах... Но скоро погаснет все – и костры, и окна, – и деревня погрузится в долгий осенний сон.

А в полночь вдруг станет светло, прянут в зенит длинные дрожащие столбы, молча и страшно задвигаются, меняя бледные краски, отражаясь в море. Потом погаснут так же

внезапно, как и возникли, и опять темнота сомкнется над землей и будет держаться упорно, долго, до неохотного расцвета следующего слепого дня.

Днем в деревне пусто. Ребята в школе, рыбаков нет – кто сидит на тоне, кто далеко в море на лове трески, кто в поле... Оживляется деревня только по праздникам да если какая-нибудь бригада привезет богатый улов сельди или семги. В этот вечер потрескивает, сипит радио на столбе возле клуба, горят по улицам редкие фонари, однообразно вякает аккордеон, перебираемый непослушной рукой, слышен смех девок, занает кто-нибудь песню...

Но пройдет день-два, и опять опустеет деревня. И так будет до самой глубокой осени, когда начнут возвращаться рыбаки с тоней, придут мотоботы с глубьевого лова, когда кончатся наконец все полевые работы.

Тогда избы вновь наполнятся запахами соленой трески и пикши, водки и браги по праздникам, махорочным дымом, крепким мужицким говором, стуком сапог. Станет весело! Жарко будут топиться печи по утрам, вкусно запахнет ржаным хлебом из пекарни, дым будет высоко подниматься в бледное небо над седыми от изморози крышами. Хватят по ночам крепкие заморозки, начнет замерзать и звонко ломаться у берегов море, а из скотных дворов хорошо, уютно будет тянуть теплым навозом.

В клубе начнут чуть не ежедневно крутить кино, допоздна станет бубнить на задах дизель электростанции, без конца

будет заседать правление, и разговоров про рыбу, про план, про погоду, про заработки и трудовни хватит надолго, чуть ли не до февраля, когда снова опустеет деревня: кто уйдет на ледоколе на зверобойный промысел, кто – в Унскую губу на зимний лов наваги.

Пусто и в избе, где я живу.

Высокая, огромная, в две связи, со множеством комнат и чуланов, строенная на большую семью, наверное, еще в прошлом веке, – она тиха и гулка.

По ночам в ней тихо трещат стены. Днем она поражает чистотой. До блеска вымытые окна загораживают цветы, тоже с блестящими протертыми листьями. Белые полы пахнут мылом и березовым веником. По полам от дверей раскинуты старые сети. От сетей в избе стоит слабый пряный запах моря, водорослей. На почетных грамотах, фотографиях, настенных зеркалах – всюду висят чистые, голубые от синьки, расшитые полотенца. Столы и сундуки покрыты суровыми хрустящими скатертями с мережкой.

И в тишине живет, всю эту чистоту и старинный порядок блюдет один человек – девяностолетняя старуха Марфа.

Как она стара! Странно и жутко порой глядеть мне на нее – такое древнее и темное у нее лицо, такие тусклые, выцветшие глаза, так неподвижно сидит она в редкие минуты отдыха. Уж никогда-никогда не выпрямить этот согнутый стан и ставшую круглой уже спину, не истончить громадные набрякшие ноги, не согреть холодные руки.

Неужели была она когда-то горяча и хороша, неужели в этом теле билось когда-то иное сердце? Нет, нет, нельзя по-

верить, нельзя вообразить ее иной, чем сейчас!

А все-таки была она молодой и, по словам стариков, помнящих ее, еще какой красавицей была! С каким самозабвением плясала она на праздниках, как пылали тогда ее щеки, как горели и сияли глаза, каким туго налитым, стройным и сильным было ее тело!

Как любила она своего Ванюшу – кряжистого, с выпуклой грудью, с мелкими белыми зубами, жесткими черными усами и жестким же черно-смоляным чубом парня, – как обмирала, пылала и дрожала, когда видела его, идущего по улице в розовой рубаше, в вонючих высоких сапогах, с каким радостным страхом кидалась опрометью на зады, видя, что он сворачивает к ее дому.

У, как была она красива тогда и как любила петь, какие дивные старинные песни знала, какой заунывно-звонящий голос был у нее! И как талантлива, яростно-неуемна была она на любую, даже самую тяжелую, грязную работу!

Так что же иссушило, состарило ее, сделало холодными руки и утишило сердце? Уж не белые ли призрачные, завораживающие ночи, не страшное ли ночное солнце выпило ее кровь? Или, наоборот, длинные зимние вечера, которые проводила она за прялкой при багровом дымном свете лучины?

О чем думала она, о чем мечтала в эти вечера, когда свистел и гудел ветер, гнал колючий сухой снег, задувал в окна, выл в печной трубе, когда гулко и грозно ломало прибрежный лед и страшно было выйти на двор, в черноту полярной

ночи?

А как вопила она, как билась и причитала, провожая и обряжая в смертную дорогу отца и мать, братьев и сестер, а потом и мужа и детей, наглядываясь каждый раз на них и не в силах наглядеться. Как бежала она к морю, как кидалась в волны, как хотелось ей в те минуты тоже навеки остаться на песчаном кладбище, среди редких низкорослых сосен!

Случай забросил меня сюда ненадолго, скоро я уеду и никогда, быть может, не увижу больше ни моря, ни этих высоких черных осенью изб, ни этой древней поморки. Отчего же так таинственно близка и важна мне ее жизнь, почему так неотступно слежу я за ней, думаю о ней, расспрашиваю ее? А она не любит рассказывать, отвечает всегда кратко, общими словами:

– Как жила-то? Да всяко...

– А как же?

– Дак я и говорю – всяко...

Говорит она как-то бегло, не пристально, невнятно, рассеянно оглядываясь или думая о чем-то своем, далеко, сокрытом от меня. Но вдруг вспоминает о внуках-моряхах, оживляется, приносит открытки, которые месяцами шли в эту глухую деревню и которые кажутся почти сказочными в этой северной стороне. Она разворачивает чистый платок, и они рассыпаются по столу – лаковые, нежно-яркие, со штемпелями Бомбея, Рангуна, Сан-Франциско, Коломбо...

Я читаю их вслух, Марфа слушает, опустив темное лицо,

на котором тлеет слабая улыбка. Долго потом перебирает она их, щупает корявыми пальцами гладкий картон, всматривается в картинки, наконец заворачивает, уносит, прячет в сундук и снова ходит по избе, все что-нибудь делает...

Встает она затемно. Простоволосая, наскоро молится, тяжело и трудно со сна кланяясь в темный угол, где между почетных грамот висит черная раскольничья икона в тусклом серебряном окладе. Потом повязывает платок, выходит в сени, начинает ходить по избе, по всем ее комнатам, чуланам и клетям, лазит на чердак, в новеть, выходит на огород.

Чего только не переделает она за день!

Доит и гонит на улицу корову, шумит сепаратором, кормит кур, лезет на поветь за яйцами, косит и рубит потом на крыльце кроваво-ржавым косарем траву и картофельную ботву поросенку; копает картошку на огороде, сушит, когда светит солнце, и ссыпает в подпол; топит печь, варит обед, кипятит самовар, идет к морю с корзиной, собирает сиреневые пучки водорослей, которые покупает у нее агаровый завод; привозят ей сено, и она, надрываясь, таскает его наверх, в новеть по «съезду», а по субботам топит баню, натаскивая туда до двадцати ведер воды, стирает, штопает, гладит, метет и моет полы, сени, крыльцо и даже деревянные мостки возле избы; чуть не каждый день ходит она на скотный двор помогать телятницам и зарабатывать себе трудодни; на ближней тоне, в десяти километрах от деревни, живет ее младший сын, хмурый вдовец, уже седой и часто по-

хварывающий, и Марфа раз в неделю, переделавши с утра множество работы, идет туда, несет папирос, масла, хлеба и сахару, приходит на тоню часа через три и, не отдохнув, начинает и там мыть и стирать, штопать и даже чинить порванные сети – на тоне этой живут одни мужики, и Марфа не может не справить своей бабской, как она говорит, работы.

Последнее время она стала плохо спать. Какая-то торжественная перемена происходит у нее глубоко в душе. И эту перемену она воспринимает как знак, как предзнаменование скорой смерти. Все чаще снятся ей муж, отец, мать, умершие дети... И я вижу, как лазит она в сундук, разглядывает свое смертное: чистую рубаху, уже пожелтевшую и пропахшую деревом сундука, просторный белый саван, платье, расшитое покрывало, ленты холстины, темные чулки и тапки. Она рассматривает, перекладывает, расправляет все это – чуждое и страшное человеку – с такой же споростью и пристальностью, как и всякую другую необходимую в хозяйстве вещь.

– Не тогда плясать, когда гроб станут тесать, – с удовольствием говорит она.

Умирать ей не страшно. Она непоколебимо убеждена в справедливости жизни, в справедливости и необходимости прихода смерти.

– Могилка-то давно меня ждет, – ласково, как о чем-то очень приятном, говорит она, глядя поверх меня тусклыми глазами. – Там и батюшка, и матушка мои повалены лежат... И сыны там, все там. Небось по мне соскучились. А я, слава тебе, Царица Небесная, пожила.

Ночью, когда на море разыгрывается шторм, ревет внизу

совсем близко прибой, и рев этот отдается по всей избе, так что вздрагивают потолки и стены, Марфа молится, стоя на коленях в углу. Молится она не за себя – за тех, кто на рыбных промыслах в Баренце.

– Пошли, Господи, им поветерь, – шепчет она и кланяется, стучаясь лбом о пол. – Не погуби, Господи, сохрани их, Николушка!

Странно мне слушать это – будто бабка моя молится, будто мать свою я слышу сквозь сон, будто все мои предки, мужики, пахари, всю жизнь, с детства и до смерти пахавшие, косившие, положенные, забытые на погостам, родившие когда-то и хлеб, и другую, новую жизнь, будто это они молятся – не за себя, за мир, за Русь – неведомому Богу старозаветному, доброму Николе-угоднику.

– Пошли им погодушку, небушко чистое, водицу светлую, – шелестит во тьме девяностолетний голос.

Потом она ложится и лежит неподвижно, глядя в темноту. Тошно ей, тяжело, давят ее годы – детство, молодость, такие далекие, такие неясные уже и все-таки прекрасные, как белая ночь, вся в солнце незакатном, и старость – как один темный осенний вечер.

Лежит Марфа, вспоминает свою жизнь, и представляется ей, будто она, молодая девка, поет песню, слышит со стороны свой чистый печальный голос:

Ах ты, моя матушка,

Твой сынок да разнесчастный
Далеко на море побежа-ал...

Но эти радостные и грустные мысли скоро уходят, уступая место другим, привычным, мыслям и заботам. И она уже думает, как бы дожить до Михайлова дня, когда все начнут собираться домой, что корова уже стара, плохо и мало доится, и не забыть сказать, чтобы купили новую, что надо гонять овец за коргу – там много морской капусты давеча накидало, что надо жать ячмень на огороде да вешать сушить...

Засыпает она нескоро и не сразу, вздрагивая несколько раз. Во сне редко и слабо дышит, просыпается, перекладывает млеющие руки, и опять спит и не спит, все слышит и понимает, но и сны видит – смутные, давно знакомые...

Все чаще бушует море, и все чаще выходит Марфа к вечеру на берег, стоит неподвижно возле наискось заделанных палок плетня, твердо чернея на бледно-желтом фоне зари. Смотрит на грязно-взлохмаченное море, на без конца бегущие и ревущие на отмели взводни с белыми гривами – знакомая картина!

Резко и горько пахнет холодной картофельной ботвой, водорослями, резко, несмотря на гул моря, слышны женские голоса, шаги по деревянным мосткам, какой-то особенный в этой деревне, басовитый и короткий крик коз.

По улице, по деревянным мосткам, крепко стуча сапогами, идет сосед-рыбак – крутоплечий, крепкий, счастливый

своей крепостью. Подходит поздороваться, зовет вечером в кино, дымит сигаретой и густо кашляет, наливаясь кровью. Потом замечает Марфу, делает серьезное лицо и грубо-восхищенно говорит:

– Ах ты! Опять выползла... Своих ждет. Хорошая старуха-то, святая, одно слово – поморка! Хошь, выпьем за нее?

Он сильно затягивается, прищуривая правый глаз, обжигая губы, бросает окурок, втоптывает его каблуком в песок, жидко сплевывает и идет берегом на рыбоприемный пункт, потирая красную шею, ширкая друг о друга отвороченными голенищами высоких сапог. Проходя мимо Марфы, он сдерживает кепку и почтительно кланяется ей.

Ветер холодеет, небо темнеет, заря окрашивается в винный цвет, воздух делается прозрачней, смугло румянеют избы наверху, а на востоке загораются редкие бледные звезды. Скоро совсем смеркнется, а Марфа все будет стоять, положив старчески сизые руки на плетень, и смотреть на море, пока не погаснет последний мгlistый отблеск зари.

1957

Манька

Посвящается К.Г. Паустовскому

От Вазинцев до Золотицы – тридцать верст. Дороги нет, идти нужно по глухой тропе, зарастающей мхом, травой, да же грибами. Маньке кажется иногда: не ходи она каждый день с почтой по этой тропе, все бы давно заглохло – блуди потом по лесу!

Манька – сирота.

– Батюшка в шторм потонул, – говорит она, опуская глаза и облизывая губы острым языком, – а матушка на другой год руки на себя наложила. Порато тосковала! Вечером раз вышла из избы, побегла по льду в море, добегла до полыньи, разболоклась, одежду узелком на льду сложила и пала в воду...

И, покраснев, невнятно договаривает:

– У меня матушка дикая была...

Дикость какая-то, необычность есть и в Маньке. Дрему-честь, затаенность чувствуются в ее молчании и неопределенной улыбке, в опущенных зеленоватых глазах. Когда года четыре назад хоронили ее мать, Манька, скучная, равнодушная, упорно смотревшая себе под ноги, вдруг поднимала ресницы и разглядывала провожавших такими лениво-дерзкими странными глазами, что мужики только смущенно откашливались, а бабы переставали выть и бледнели – пугались.

Года два уже работает Манька письмоношцем. В свои семнадцать лет она прошла так много верст, что, наверное, до Владивостока хватило бы. Но работу свою она любит. Дома неприглядно, пусто, скучно: скотины нет, сквозь давно не чиненную крышу повеи глядит небо, печь полгода не топлена.

Худая, высокая, голенастая – ходит Манька легко и споро, почти не уставая. Выгорают за лето ее волосы, краснеют, а потом темнеют ноги и руки, истончается, худеет лицо и еще зеленей, пронзительней становятся глаза.

Дует в лицо ей ровный морской ветер, несет удивительно крепкий запах водорослей, от которого сладко ломит в груди. По берегам темных речушек, заваленных буреломом, журчащих и желто пенящихся, зацветают к августу пышные алые цветы. Рвет тогда их Манька, навязывает из них тяжелые букеты. Или, отдыхая в тени серых, изуродованных северными зимними ветрами елок, украшает себя ромашками, можжевельником с темно-сизыми ягодами, воображает себя невестой.

Легко, сладко, вольно ходить ей, когда мало почты. Но иногда приходит много посылок, бандеролей, журналов. Тогда надевают на спину Маньке большой пестерь и плотно, тяжело нагружают его.

– Ну как, девка? – кричит тенором начальник почты. – Дойдешь ли? Может, за лошадю послать?

– Ничего... – сипло отвечает Манька, розовеет лицом и

шевелит лопатками, поудобнее устраивая пестерь.

Уже через версту начинает ломить у нее спину и тяжелеют ноги. Зато сколько радости в эти дни у рыбаков на тонях! Какое оживление, веселье разгорается, как медленно, старательно, с каким смехом заполняются квитанции, и как любят рыбаки Маньку в такие дни!

– А ну, девка! – кричат ей. – Скидывай пестерь-то, поспеешь еще дак... Садись с нами уху хлебать! Митька, ложку!

И кидается какой-нибудь белобрысый Митька со всех ног в чулан за ложкой, торопливо обтирает ее полотенцем, с шутливым низким поклоном подает Маньке.

– Семужки, семужки ей поболе! – покрикивают с разных сторон. И, краснея, опуская глаза, Манька садится и ест, стараясь не глотать громко, с благодарностью чувствуя заботу и любовь к себе рыбаков.

Зато с газетами и письмами идти хорошо, не режут плеч лямки пестеря, чего только не насмотришься в дороге, о чем не надумаешься! В три рыбачьих тони нужно зайти Маньке по дороге в Золотицу. Каждый раз ждут ее там с нетерпением, и никогда не обманывает она ожидания: вовремя зайдет, попьет чаю с брусникой, расскажет новости, отдаст почту, к вечеру приходит в Золотицу и ночует там. А утром, захватив обратную почту, идет к себе в Вазинцы.

Первая от Вазинцев тоня называется Вороньей. Жили там четверо рыбаков со стряпухой, а с лета, когда ночи стали золотеть, прибавился пятый – Перфилий Волокитин.

Черноволосый, стриженный, с крепким маленьким лицом, он по весне демобилизовался, месяца два жил дома, хотел подаваться в город, но вдруг загулял с Ленкой – самой красивой и озорной девкой в деревне, из-за которой не раз дрались в клубе ребята, – решил остаться и попросился на Воронью рыбаком.

Принес он на тоню гармонь, часто играл, бездумно глядя в море, был постоянно и ровно весел, был по-солдатски чуток, расторопен, охотно брался за самую тяжелую работу, а вечерами брился, подшивал к гимнастерке ослепительные подворотнички, чистил сапоги, надевал набекрень фуражку и уходил в деревню, в клуб, возвращаясь каждый раз на рассвете.

Был он еще силен и буен, ловок, неутомим в танцах, был находчив и насмешлив в разговоре, и Манька, встречаясь с ним в клубе, отдавая ему письма и газеты, стала вдруг краснеть и опускать глаза. Ночами, дома и в Золотице, стала она плохо засыпать – подолгу думала о Перфилии, вспоминала его лицо и голос, его слова и смех, воображала с пылающими щеками, что живет она с Перфилием в высокой новой избе

окнами на море и все у них есть, а заснув, колотилась коленками в стену, бормотала во сне.

Она спала в Золотице, в душной, натопленной избе, где ночевали еще человек восемь — бригада плотников, — когда под утро ей приснился вдруг Перфилий. Ярок, необычен и стыден был этот предрассветный сон, и Манька сразу проснулась, широко раскрыла свои зеленоватые глаза, вскинулась и села, ничего в первую минуту не чувствуя, кроме колотящегося сердца.

Всхрапывали спящие на полу и на лавках плотники, тле-ла за потными окошками белая ночь, и неслышно давилась, всхлипывала Манька, внезапно понявшая, что любит Перфилия, содрогаясь от жалости к себе, к своему худому, детскому еще телу, от ненависти к красивой Ленке, от мысли, что пропала, загублена теперь вся ее жизнь. И только на рассвете, сморенная, измученная, заснула она с мокрым от слез лицом.

Страшно стало ей после этого утра подходить к тоне, боялась выдать себя, боялась грубого рыбацкого смеха, вздрагивала, холодела, увидев Перфилия, услышав его голос, сердце у нее падало, губы пересыхали и мягко ныло в груди.

Вся сомлев, полуживая, уходила она от Вороньей, поне-многу прибавляла шагу, чуть не бежала, забиралась в глушь, падала лицом в сухой белый мох и долго сладко плакала от радости, от любви, от одиночества и непонятости. Несколько раз блудила она в лесу, шла куда глаза глядят, улыбалась,

разговаривала сама с собой.

А иногда выходила к морю, садилась на камень, сжималась в комок, пригретая солнцем, смотрела на чаек, на сине-зеленую гладь моря, раскачивалась и бормотала: «Чаячки, чаячки... Донесите вы к нему мою любовь!» И вспоминалась ей, как сквозь сон, старая ее бабка, давно умершая, давно ушедшая из этого мира, вспоминались ее сказки, ее вопли, и приходили сами собой, уверенно выговаривались дикие вещие слова: «Стану я, раба Божия Манька, благословясь, пойду перекрестясь... Из дверей в двери, из ворот в ворота, выйду я в чисто поле... Так бы и он скрипел и болел, и в огне горел, не мог бы он ни жить и ни быть и ни пить и ни ись!» Жутко становилось ей, громко стучало сердце, потели ладони, и особенно желанным, особенно недоступно-красивым был для нее в эти минуты Перфилий!

Море было неподвижным, шелковистым, едва заметно поднималось и опадало, будто дышало. Небо затягивало легкими светлыми облаками, пряталось в них солнце, светило мутным пятном. А там, над горбатым голубым мысом, падали в море веерообразные, бело-синие столбы света, и нестерпимо сияло, вспухало и как бы дымилось в том месте море. Лето стояло прекрасное, радостное, необычно теплое...

Однажды, уже в сентябре, Манька, еще более одичавшая за лето, подошла к тоне и настороженно остановилась. День выдался с утра ненастный, с ветром, с беспорядочным волнением на море. На рассвете прошел короткий крупный дождь, изба потемнела, приняла сразу осенний вид, скупое, бледно отсвечивала стеклами. Особенно много навалило на берегу в этот день водорослей, особенно много было на песке влажно-алых медуз, буро-желтых мелких звезд...

Вчера к вечеру попало в ловушки много семги, сегодня в Вазинцах был престольный праздник, – стосковавшиеся рыбаки погрузили семгу в карбас и все вместе поехали сдавать ее на рыбоприемный пункт, а заодно попариться в бане, переночевать дома и погулять на празднике.

Поехал вместе со всеми и Перфилий, вечером пошел в клуб, послушал гармошку, сам немного и пренебрежительно поиграл, потом бросил, стал грызть подсолнухи, стал особенно громко острить, потом выпил с ребятами на улице, темные красивые глаза его начали косить, голос слегка охрип, он все больше возбуждался, расталкивал ребят и девок, враскачку входил в круг, закинув суховатое маленькое лицо, лениво прикрывая глаза, постукивал, поскрипывал хромовыми сапогами и равнодушно, под радостный гогот ребят и притворную ругань девок, выпевал похабные частушки...

И весь вечер хищно, трепетно следил за Ленкой, и что бы ни делал – делал ради нее. А когда всех выгнали из зала, стали расставлять лавки и продавать билеты в кино, он нашел ее в толпе, крепко схватил за руку, вывел в сени, где хрустела под ногами подсолнечная шелуха и пахло уборной, прижал к стене и, все больше бледнея, кося глазами, зашептал:

– Пойдем к тебе... Что ж ты со мной делаешь? Пойдем, дома посидим...

– Дома я всегда сижу, – бойко, равнодушно сказала Ленка, не глядя на Перфилия, жадно прислушиваясь к тому, что делалось в клубе.

– Не хочешь, значит? – с угрозой и бессилием просил Перфилий, вдыхая запах пудры и волос Ленки. – Другого нашла? Из морячков, да? Смотри, не пожалела бы! Смотри, потрешь на кулак слезы...

– Пусти! – шепотом приказала Ленка, грубо и сильно рванулась и, не взглянув на Перфилия, ушла опять в клуб, сильно хлопнув дверью. А Перфилий впервые заметил, какая у нее раздражающе высокая грудь, какие жадные и крупные руки, какое жестоко-красивое лицо и как нагло, вызываяще покачивает она на ходу бедрами.

Он вышел на темную улицу, освещенную редкими фонарями, на бодрящий холод, отрывая пуговицы, расстегнул гимнастерку, снял фуражку и пошел домой, вздрагивая от ярости и стыда, крепко стуча сапогами по деревянным мосткам. Из дому, не слушая уговоров матери, захватив с собой

бутылку водки, хлеба и сала, он спустился к морю, сел в карбас и через два часа был у себя на тоне.

Он вошел, разгоряченный злобной греблей, зажег лампу, не присаживаясь к столу, налил стакан водки, выпил и сжал зубы, моргая, ероша отросшие за лето жесткие волосы. Потом вышел из избы, сел на бревне, закурил и долго остекленелыми глазами смотрел в темноту, в холод моря, туда, где летом катился ночью по горизонту огромный тусклобагровый диск солнца и где теперь все чаще дрожали, зыбко светились и устало потухали голубые столбы северного сияния.

И когда утром, настороженная необычайной тишиной, вошла в избу Манька, Перфилий спал на своей койке в углу, раскинув ноги, с заголившимся мускулистым животом, завернув голову телогрейкой. Услышав стукнувшую дверь, он проснулся, тупо посмотрел на Маньку, потер лицо.

– А! Пришла... – сказал он хмуро и сел к столу, обхватив голову руками. – Письма есть?

– Нету... – Манька опустилась на лавку, стыдливо поджала ноги и перевела дух.

– Нету! А чего принесла?

– Газеты. – Манька кашлянула и облизала губы.

– Газеты! – Перфилий мрачно посмотрел в окно. – Шторм будет! Как бы ловушки не сорвало... В деревне-то чего у нас? Уехали, суки, гулять им надо!

Он тяжело поднялся, пошел к ведру напиться, оглядывая съежившуюся фигуру Маньки.

– Чего это ты сегодня какая-то... – невнятно спросил он и, закинув голову, раздувая горло, стал пить.

– Какая? Никакая... – прошептала Манька, краснея до смуглоты, наклоняясь, разглаживая платье на коленях.

– Все одна живешь?

– Одна...

– Скучно одной-то, – без выражения сказал Перфилий, глядя в окно.

– Живу... – Манька слабо двинула рукой, кашлянула, встала, подошла к ведру и тоже стала пить, наслаждаясь от мысли, что пьет из той же кружки, из которой только что пил Перфилий.

– Идти мне надо, – сипло сказала она, снова садясь и поднимая на Перфилия испуганный взгляд. Но Перфилий не слышал ее – смотрел в окно и молчал.

– Шторм идет! – сказал он глухо. – Метеористы чертовы! Три балла сегодня, по метеосводке...

Манька тоже взглянула в окно. Море потемнело, билось в берег, ветер посвистывал в вешалах. Волны шли быстро, пенясь, налезая друг на друга, а по горизонту росла, приближалась черно-лиловая полоса.

– Шторм идет, а они гулять поехали! – горько и грубо повторил Перфилий, вспомнив Ленку, пошел за занавеску, стал натягивать брезентовые штаны и куртку.

– Куда ты? – спросила Манька, обмирая. – Куда ты, ай утонуть хочешь?

– Куда! Ловушки в море стоят, выбирать надо! – пробормотал Перфилий и вышел вон. Манька, приоткрыв рот, прислушалась к ветру, потом глянула в окно на полосу, которая значительно расширилась за эту минуту, и опрометью выскочила вслед за Перфилием. Ветер туго ударил ей в лицо. Перфилий возился у карбаса, когда Манька подбежала к нему.

– Ну? – Перфилий недовольно повернулся к ней и, не дожидаясь ответа, стал спихивать карбас по каткам к воде.

– Я с тобой, – сказала Манька и тоже уперлась плечом в карбас.

– Еще чего! Детский сад! – заорал Перфилий, когда карбас уже прыгал и бился по песку. – Пошла в избу!

– Не пойду! – Манька вцепилась белыми пальцами в борт. – Чего я, моря не видала?

– Ну так прыгай! – весело вдруг и с какой-то отчаянностью закричал Перфилий и оскалился. – Лезь!

Манька ловко вскочила в карбас, падая с борта на борт, пробралась на корму. Перфилий, побагровев, оттопыривая зад, но пояс в воде, толкнул карбас, подпрыгнул, упал животом на борт, перевалился внутрь, схватил весла и стал заворачивать карбас на волну. Через минуту они уже ходко шли, поднимаясь и проваливаясь, к черным кольям ловушек, поставленных метрах в двухстах от берега. Манька сильно подгребала, слизывая с губ соленые брызги, ветер раздувал ее волосы. «Платок забыла! – думала она. – Ой, потонем мы, ой, ветер порато дует!» И влюбленно глядела в закинутое,

решительное, красное от напряжения лицо Перфилия.

Подошли к первой ловушке и с ходу, спеша, боясь даже глядеть на приближающуюся черную полосу, стали вытаскивать колья и укладывать их вместе с сетью в карбас. Манька то подтягивала сеть, то выбрасывала черпаком воду. У нее скоро заломило руки и ноги, платье намокло, задралось, оголились пятнистые от холода крепкие узкие бедра, показался край розовых штанов. Маньке было стыдно, но она уже не могла выбрать минуту оправить платье. А Перфилий и не смотрел на нее, колья были вбиты крепко, он раскачивал их, карбас бросало, волны становились все выше, надо было спешить.

Минут через пятнадцать ловушка была снята, пошли к берегу. Карбас осел. Перфилий бешено греб, глядя на что-то, что приближалось с моря. Манька сидела лицом к берегу, подгребала, вычерпывала воду и боялась оглянуться.

– Стой! – дико заорал Перфилий, – На берег не выедем, кидай в воду, отсюда не унесет!

Выбросив ловушку, которую тотчас с ревом потащило на берег, они повернули опять в море. Теперь лицом к морю сидела Манька, полуживая от ужаса. Ни неба, ни облаков, ни моря вдали не было. Было что-то черное, туманное, бесстыдно, нагло возбужденное, взлохмаченное, и в черноте этой одной гребни волн холодно и жестоко белели. До второй ловушки еле добрались сквозь ветер. Перфилий выгибался, закидывался при каждом гребке, у Маньки подламывались ру-

ки...

И опять цеплялся Перфилий за колья, раскачивал их, опять ходуном ходил карбас и, когда поднимался, задира́л нос, заваливаясь набок – голова и руки Перфилия скрывались за бортом. Округлив от ужаса глаза, Манька видела тогда только его напряженный зад и раскоряченные ноги в мокрых блестящих сапогах. Выдранный из грунта кол прыгал вверх, Перфилий отваливался назад, втаскивая сеть в карбас. В этой ловушке было несколько семг, метались брусковатые сиги, но на них не обращали внимания.

Наконец подошел настоящий шторм, волны сразу покрылись пеной, полетела водяная пыль, от берега стал доноситься сплошной рев: там по песку шел чудовищный накат, доставая почти до тони. Море начало приобретать шоколадный цвет. Вторая ловушка была почти вся в карбасе, оставалось втащить только полотно правой стенки, когда карбас полез на волну, встал почти вертикально, падая в то же время набок, перевернулся, и оглушенная, задохнувшаяся Манька оказалась под ним.

Она уже ничего не понимала в темноте, ей хотелось света, воздуха, хотелось увидеть Перфилия, а она стучалась головой о скамейки, тонущая сеть запуталась у нее в ногах, тащи́ла за собой. «Господи! – гудело у нее в голове. – Мамочка, ой, пропала я совсем, ой, пропала!»

Что-то шаркнуло ее по ноге, она брыкнулась, вцепилась в скамейку, прислонила лицо ко дну, – тут еще оставалось

немного пахнувшего рыбой воздуха, – и завывала. И опять, скользнув по ногам, схватили за бедра, за платье резкие злые руки, жестоко дернули вниз, Манька захлебнулась, давясь, уже по-звериному вырываясь, изгибаясь, – а ее все так же больно, грубо рвануло кверху, прижало к пузатому рубчатому боку карбаса: Перфилий, отплеываясь, заголяя напряженную, с выступившими позвонками спину, карабкался на киль, тащил за собой Маньку.

– Чего под карбасом болтаешься, дура! – счастливо заорал он ей в самое ухо, крепко прижимая ее к себе, держась за осклизлый киль. – Держись! К берегу несет, выплывем!..

Манька, мотаясь, кашляя, ничего не видя сквозь слезы, задыхаясь от влажного соленого ветра, от водяной ныли, одной рукой вцепилась в киль, другой – обняла Перфилия за шею и замерла, заоченела.

– Ничего! – весело, надсадно орал Перфилий, ерзая сапогами по днищу карбаса. – Живем! Кто у моря не жывал, тот и горя не видал!

А море ревело, будто громадный буйный зверь, и, будто зверь, поднимало, опускало на своей спине опрокинутый карбас, все ближе поднося его к берегу. Уже через полчаса, поблескивая круглыми боками, карбас плясал в ревущем прибое. Волной подхватывало его, выносило на берег, потом волна разбивалась внизу, а карбас, окруженный шипящей пеной, сначала медленно, затем все быстрее мчался назад, чтобы снова, поднявшись на волне, броситься на берег.

Внезапно все стихло, слышно стало шипенье скатывающейся назад воды, а сзади послышался нарастающий, как от поезда, гул. Перфилий оглянулся и чуть не выпустил киль: неслась на них зловещая, закрученная, поплескивающая сверху волна. Она ударила в карбас, который не успел взобраться на нее, перевернула его, понесла на берег, гулко хряпнула о песок, и последнее, что помнила Манька, – это как несло ее куда-то, ударяя лицом, спиной, локтями о песок, ломая, вывертывая руки и ноги.

Очнулась Манька на берегу. Перфилий стоял возле нее на коленях, приподнимал ей голову. Маньке стало стыдно, она оттолкнула его и села, оправляя платье, прикрывая заголившиеся ноги. Ее тошнило, голова кружилась, плавали в глазах мушки.

– Никак жива! – обрадовался Перфилий. – Погоди тут, я сейчас...

Он тяжело побежал по песку туда, где, как живой, ерзал в пене лоснящийся карбас, забрел по пояс в воду, поймал конец, поволок карбас на берег. Потом, снова забредя в мутно-белый шипящий раскат, ухватил ловушку и, наклоняясь почти до песка, дрожа ногами, вытащил на берег и ее. Запыхавшись, хлопая голенищами сапог, мокрыми полами куртки, он вернулся к Маньке. Она еще сидела, не в силах подняться.

– Ну что ты! – притворно-укоризненно и бодро сказал Перфилий. – Ничего, ничего... А ну, берись за шею – поне-

су! – крикнул он, нагибаясь, тревожно заглядывая ей в лицо.

Но Манька отвернулась и встала, качаясь, как пьяная, со слабой виноватой улыбкой на белом лице. Они пошли рядом. Перфилий обнимал, поддерживал ее за спину, чувствовал ее худые лопатки, ширкал голенищами сапог, все больше оживляясь, посматривая на море, загораясь, говорил, смеялся над собой, над Манькой, над штормом, будто не он минуту назад держался за киль, хрипло, надсадно орал, напрягался и с ужасом глядел на волны.

В избе Перфилий растопил печку, стащил с себя все мокрое, переоделся, вынес штаны, свитер и куртку Маньке, ушел в сени и жадно закурил там, рассматривая дрожащие, в ссадинах руки.

– Скоро ль, что ль?! – закричал он через минуту.

– Ой! Сейчас! – испуганно отозвалась Манька и заторопилась, с усилием стаскивая прилипшее к телу платье и рубашку. Одеваясь в сухое, путаясь с непривычки в длинных штанах, она покосилась, потрогала свою еще чуть припухшую грудь, тяжело вздохнула.

– Ну? – опять крикнул Перфилий из сеней.

– Иди! – смущенно разрешила Манька, торопясь, опуская глаза, стесняясь мужской одежды, быстро вынесла вон все свое мокрое, выжала и развесила на ветру.

– Ну-ка! – встретил ее Перфилий. – Поди сюда! Сейчас лечиться будем по последнему слову науки и техники...

Он посадил Маньку за стол, на лавку, достал из-под койки начатую вчера бутылку водки, налил в стаканы ей и себе.

– Выпьем! – сказал он жарко, глядя ей в лицо. – Пей, пей! Подыдем стаканы, содвинем их сразу... Это от простуды. С благополучным приземлением вас...

Он выпил первый, подышал открытым ртом и тотчас налил в кружки чаю. Манька тоже выпила, задохнулась, затряс-

ла головой. Она быстро опьянела, зарозовела, зеленые глаза ее замерцали. Вся обмирая, ужасаясь, все больше, острее хотела она только одного: чтобы обнял, поцеловал ее Перфилий.

И Перфилий, взглянув на нее, вдруг замолчал и побледнел. Отодвинув кружку с чаем, он встал, легким хищным шагом вышел из избы, быстро посмотрел в обе стороны: берег был пустынен. Он вернулся, напряженно сел, стал жадно, открыто разглядывать Манькино лицо с пылающими щеками, влажные еще, курчавившиеся волосы, опущенные золотистые ресницы, уже понимая причину ее молчания, ее странности, опущенных глаз, сиплого голоса. Грозно, гулко шумело за стеной море, а в избе было тепло, сухо, трещала печка, пахло рыбой.

– Тебе лет-то сколько? – быстро спросил он изменившимся голосом.

– Идти мне надо... – слабо сказала Манька, приподнимаясь, и тут же села.

– Лет-то сколько тебе? – опять спросил Перфилий, стараясь заглянуть ей в глаза.

– Девятнадцать... – соврала, прошептала Манька, отвернувшись и почувствовала, как холодеют у нее руки и кружится голова. И вспомнила вдруг, будто облитая холодом, свою летнюю тоску, свои слезы, весь стыд первой тайной любви, все отчаяние призрачных белых ночей – сладкий ужас охватил ее: сидел рядом Перфилий, смотрел на нее страшными

глазами, сбывались ее сны! «Чего же это! – подумалось ей. – Ай, он кинется на меня сейчас! Мамочка, чего же это!» – и дико взглянула в лицо Перфилию.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.